

ВРЕМЯ ИМБ 28 1978



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ОПЫТ В БЫТОВОМ ЖАНРЕ
- ПОЭЗИЯ БОРИСА КУПРИЯНОВА
- ЛЕНИН И "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ"
- ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ ЧИТАТЕЛЯ
- КОНФЛИКТ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
- СКУЛЬПТУРА ЕВЫ ГОЛЬДФАРБ

1. *А. Б. Иошуа*
Боль писателя
2. *Владимир Соловьев*
Кумир нации,
или эолова арфа
3. *Леонид Гиршович*
Мальчики и девочки
4. *Михаил Моргулис*
Три рассказа

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

28
1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ФАИНА БААЗОВА
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН

МИХАИЛ ЛЕДЕР
ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЭММА СОТНИКОВА
ЙОСЕФ ТЕКОА
ААРОН ЯАРИВ

Представители журнала:

Англия Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

Западный Берлин Лотар Ролл
Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474-9773

США Эдуард Штейн
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97
USA

Франция Ричард Кернер
24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил МОРГУЛИС
Три рассказа 5
Сергей ДОВЛАТОВ
Купцов и другие. 19
Леонид ГИРШОВИЧ
Мальчики и девочки. 32

ПОЭЗИЯ

Борис КУПРИЯНОВ
Горячий смех обугленного слова 78
Иван СТЕПАНОВ
Майданек или Магадан. 86

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, КРИТИКА

Дора ШТУРМАН
"Этот самый человеческий человек..." 91
Владимир СОЛОВЬЕВ
Кумир нации, или эолова арфа 105
А.Б. ИОШУА
Боль писателя. 120

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Михаил ДЕМИН
Блатной. 134

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма Максимилиана Волошина. 185

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Конфликт плоти и духа. 211
Коротко об авторах 219



Михаил МОРГУЛИС

ТРИ РАССКАЗА

ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР?

Весь мир был залит причерненной синевой, и на таком фоне прекрасно было видно, как оранжевый шар солнца поплавав покачивался на горизонте. Потом стал быстро погружаться, будто бы увлекаемый на глубину невидимой силой. Он решил до конца досмотреть уход солнца и видел вначале половину шара, разделенного синей нитью горизонта, потом желтого становилось все меньше и меньше, потом осталась только тоненькая полоска, узкая и хрупкая, как браслет с прекрасной женской руки.

Все это время он барабанил пальцами о стекло окна что-то ритмичное, тусклое, запомнившееся с детства и навеки. Комната продолжала еще держать остатки дневного света, и он заметил, как наступил тот неуловимый час вечера, когда лиц уже не видно, а глаза все еще светятся. Он повернулся, посмотрел в глубину комнаты, на тахту, увидел ее глаза и снова быстро отвернулся, чтоб не начать разговора.

Окно комнаты выходило на Днепр, и он никогда не переставал этому радоваться. Когда-то он очень сильно "дрался" за эту комнату в их кооперативном доме. В конце концов пришлось дать председателю кооператива добавочных триста рублей. Он вспомнил, что те деньги одолжил у мамы.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Днепр всегда его успокаивал, завораживал, умиротворял. Сейчас он ему показался вороненного блеска шпагой, брошенной меж темных ножен берегов. И тут же мозг его выбил живую картинку воспоминаний. И он, тоскуя и радуясь, вспомнил, как очень давно обещал себе, что если он будет умирать, то придет в тот дворик, где когда-то стоял сарай с надписью "штап". И он вспоминал дальше, как обещал себе: "...я прижмусь к той земле, на которой мы когда-то мечтали быть сильными и благородными. Я буду вспоминать своих друзей, которые когда-то были лучше, чем стали потом. Мне вспомнятся походы на Днепр, битвы "пиратов" и "мушкетеров", неуклюжие ухаживания за девочками, часто кончавшиеся драками. Я вспомню дразнящий запах акаций и первые затяжки папирисой. Я вспомню те годы, когда жизнь кажется утром — безоблачным, чистым и манящим."

И сейчас, повторив про себя старое обещание из детства, он, как и всегда при этом, разволновался, несколько слезинок выпуклой тяжестью нависли в глазах, а потом две из них медленно скатились под ворот рубашки. Он, как бы невзначай, провел ладонью по лицу, совсем по-другому, а не так, как когда вытирают слезы, это для того, чтобы не догадались. Потом он привычно и ловко вытянул сигарету из мятой пачки и прикурил ее, держа ладони, как на ветру. Затягиваясь, он решил поплыть против течения печальных мыслей, но течение мгновенно понесло его, и он с ужасом подумал опять, что уезжает навсегда отсюда и никогда не увидит эту комнату, в которой остается здесь дочка и женщина-жена, лежащая сейчас на тахте в глубине комнаты. И этот вечер выделен специально для прощального разговора, а разговор никак не получается, как и всегда, когда надо сказать много, и это не укладывается в простые человеческие фразы. И он лихорадочно стал искать эти фразы и, не найдя таких, громко сказал, почти прокричал:

— Ну, ты можешь, наконец, дать слово, что потом приедете ко мне...

Но женщина-жена молчала. Она всегда так молчала. Глаза ее уже не блестели, она была живым, плохо очерченным в

темноте силуэтом. Он понял, как хорошо она сделала, что отвела сегодня дочку к бабушке. Сейчас он был даже согласен, чтобы она хотя бы сыграла в искренность, чтоб утешила своим обещанием приехать. Он ясно чувствовал, что если она так скажет, то сердце его омоется освежающей влагой надежды, и ему станет легче. Но она молчала. Тогда он, дрожа скулами, присел перед ней на корточки и повторил отдельно, кривя губы от ярости:

— Ты дашь мне, наконец, слово, что приедете ко мне... Ты дашь... — И тут рука его, включившись в сеть проводов ярости, ударила туда, где белело ее лицо. Она тихо вскрикнула, а он от отчаянья и гадости своего поступка, от его несправедности бросился на тахту, сильно сдавливая ее плечи одно к другому, и повторял уже почти не слыша себя:

— Ты дашь... ты дашь мне слово, я заставлю тебя... ты дашь... ты...

Она толкала его в грудь и шепотом все время повторяла: "подлец... подлец... подлец..."

И вдруг в этом шепоте всплыла ассоциация, он услышал другой таинственный шепот. Он только на одно мгновение застыл и, по-прежнему что-то бормоча, вдруг стал целовать ей руки. А она, по-женски моментально ощутив эту перемену, с еще большей силой отталкивала его, продолжая ругать все тем же шепотом. Но он уже знал только одно, он услышал запах ее тела, узнал его родные оттенки. И наконец, разжав ей руки, он наугад поймал ее губы губами, и поцелуй его был долгим, большим и обжигающим. И чувствуя, как она слабеет, не отрывая губ от ее губ, он расстегивал ей блузку, лихорадочно спеша избавиться от бюстгалтера, и когда его сбросил, то оторвался от губ и прижался к ее чуть прохладной коже, лаская и целуя ее грудь, а она затихла, откинув голову. И, случайно коснувшись рукой ее лица, он почувствовал, что глаза ее закрыты. И тогда, продолжая обнимать лихорадочными руками грудь, он передвинул лицо ниже и стал целовать ее живот, а потом, наткнувшись на начало бедер, стал искать замок или пуговицы на юбке. А когда нашел замок и стал стаскивать юбку, она вдруг снова стала сопротивляться,

довольно сильно толкнула его и вновь шепотом, задышающе стала повторять: "не хочу... не хочу... не хочу сейчас." А он, борясь и мучаясь, заклинал, настаивал, умолял, произносил жалостливые ласкающие слова и в общем делал и говорил все то, что вырывается из мужчины бредовым потоком, когда он оказывается во власти еще не сдавшегося женского тела. Но потом, еще повторяя слова отказа, она ослабила сопротивление, и он стащил юбку, и упав лицом на скрещение бедер, целовал и гладил, и перед этой нежностью она полностью сдалась, и, тогда сняв с нее все, он быстро разделся сам, и она стала делать то, что он молча ее просил. А когда он зажег ее до предела, и она уже руками звала его к себе, он увидел внизу ее лицо запутанное в волосах, и она стонала и бормотала между стонами полуслова нежности и муки и желания. И он, сжав ее, ощущал первозданную жгучую силу хозяина и властелина, и она уже почти кричала и кусала себе губы, и он тоже почувствовал приближение финиша, и тоже что-то кричал, и тут же они оба содрогнулись и оказались в окутавшем их тумане исхода и обессиленные затихли.

И когда время выплыло из тишины тиканьем часов, он поцеловал ее в затылок и пошел в ванную. Там он постоял под душем, а потом сел на край ванны и стал вспоминать, что последний раз был близок с ней шесть месяцев тому назад. И, зная давно, он сейчас еще раз понял, что после "этого" только с ней ему не бывает противно. И нежность вдруг выскользнула из-под прессы его жуткого состояния и поплыла в нем и еще б чуть-чуть — он стал бы совсем счастливым. Но тут он сцепил пальцы рук так тяжело и сильно, что они хрустнули. И не желая больше думать о том, что было и что будет, он встал и вошел в комнату. И только он вошел, как она соскользнула с тахты, промелькнула, щелкнула дверь ванной, и он услышал урчанье кранов, а потом шершавый шум душевого дождя. А он, голый, остановился снова перед окном и заставил себя спросить у самого себя: "Что же происходит!?" Коротко это выглядело так: он навсегда уезжает со своей родины на другую свою родину, но сейчас он не может понять, какая из них настоящая. И вообще, есть ли она. Он уезжает

один, потому что жена не захотела оставлять своих родителей, а значит эту родину, а потому и дочка остается с ней. При слове "дочка" он чуть не закричал от боли и присел на корточки, обхватив шею сцепленными руками.

Перед всем этим он на шесть месяцев ушел из своей старой, привычной жизни. Шесть месяцев он оформлял и подавал документы и потом ждал, разрешат ли ему какие-то таинственные люди уехать отсюда. В эти шесть месяцев его выгнали с работы, его вытолкнули из огромного, равномерно копошащегося мира, и разговаривать так, чтоб его понимали и чувствовали, он мог только с такими, как он, ждущими своего приговора из уст тех таинственных идолов.

Все эти шесть месяцев он только видел ее и дочку, но ни о чем говорить не мог, и она, понимая его состояние, не спрашивала ни о чем, и он был тогда благодарен ей за это. Но сейчас, когда ему сказали "есть", и через неделю все привычное помчится в обратную сторону жизни, он вдруг очнулся, все неясное стало четким, как вороны на белом снегу, и он, до этого спасаясь от ужаса потерь хлопотами отъезда, вдруг, наконец, как на эшафоте, очутился в этой комнате. И сейчас, снова глядя в окно на затвердевшую синеву вечера, на уже ставшую сумрачно-серебристой пелену Днепра, он почувствовал, как огромная гора, до этого отодвинутая в сторону, вдруг стала сползать на него громадой тоски и боли. Но и сейчас он нашел в себе какие-то силы и стал замечать, что на улице поднялся ветер и все внизу зашевелилось. И деревья стали монотонно раскачиваться, как евреи на молитве, грустно просящие о чем-то Бога, склоняясь кронами со свисающими желтыми прядями осени. А гора медленно подминала его под себя, и ярко-красный огромный валун вдруг прижал его сердце, и он, молча хрипя, увидел чеканно, что он бесконечно любит эту женщину и всегда, точно так же будет ее любить, и что дочь крошечными руками обхватила его, и ему никогда не оторвать от себя ее маленьких рук. Но тут он услышал, как она вновь появилась в комнате, и он сказал: "Дует сильный ветер, по-моему, с севера..." И так как она молчала, он снова сказал: "Дует ветер, сильно дует ветер, и по-моему, с

севера..." И пока он снова ждал, ответит ли она ему, то представил себе чуть-чуть, что будет, если он останется.

И он увидел лица своих друзей и врагов, узнавших про это, и всю свою дальнейшую жизнь, и все это было страшно.

А в это время она тихо, почти шепотом, сказала: "А говорили, ветер будет с востока..." А он вдруг увидел игрушечную железную дорогу, где поезд ходит по кругу, и увидел себя, падающего из вагона и цепляющегося за поручни, и скользя он слышал, как хрустит тело под колесами. И тогда, чтоб выйти из этого сна без сна, закричал: "Ветер дует с севера, ветер дует с севера..." и бросился в глубину комнаты и стал быстро-быстро одеваться в темноте. Потом он сжал ее голову руками и несколько раз поцеловал в волосы. А потом ушел, в лифт не зашел, пробежал по лестнице, вдыхая знакомые запахи этого парадного, и вышел на улицу и потянулся к Днепру. Так он прошел, погруженный в свистящий омут ветра, до канала, где Днепр был временно зажат щупальцами бетонных берегов, и зашел на мостик, повисший в воздухе полукруглым черным гребнем для волос. Вначале он вынул сигареты, сжал всю пачку и бросил ее в мертвящую черную гладь воды. Потом вынул нож, что купил себе в дорогу, открыл самое большое лезвие и, среди куврыкающейся надежды, что это страшный сон, ударил себя в горло и тут же закричал утробно, из глубины природы поднявшимся криком.

Вначале ему было горячо, а потом прохлада стала тихо заполнять его, и он застыл где-то, покачиваясь на бесконечных волнах.

КОНЕЦ ФРОЛА БОТИЧЕЛЛИ

Фрол Ботичелли уже давно был несчастным до неприятности человеком. Людям, рассматривающим исподтишка его опухшие щеки и слезящиеся собачьи глаза, был он уже совсем не симпатичен. Костюм на нем был изжеван, вроде бы стадом голодных колхозных коров, весь в красно-желтых винных пятнах, на туфлях, пыльных, как проселочная дорога, каблук был изношен под сорок пять градусов. Шнурки на туфлях он уже давно не развязывал, надевал туфли, как калоши. А если шнурок развязывался, то с ним, телепающимся по земле, ходил он до того момента, как хорошо опохмелится и уже мало дрожащими руками сможет его завязать. Да и главное, не было уже у Фрола денег и вещей — все пропил, а значит и уверенности в правоте своего пьянства. Стал он алкоголиком одной из последних стадий. Рано утром, к семи часам, он уже плелся к овощному магазину, где продавалось дешевое (за один рубль 02 копейки бутылка) "Фруктово-виноградное вино", оно же "фруктово-виноградное". Вино это отвратительное, сделанное из загнивших яблок, по общему мнению всех алкашей района, дающее на опохмелюгу тяжелую и тупую головную боль и пожарную изжогу. Но в семь утра был открыт только овощной магазин, а многие уже спешили на работу, да и продавщица Галка, недавно дура деревенская, жалостливая и практичная, была и отпускала вино, несмотря на то, что указ есть — продавать спиртное только с одиннадцати. И вот мужики пили бутылку на двоих, по стакану на брата, граммов пятьдесят еще оставалось в бутылке, и Фрол допивал их "с горла". Несколько бутылок допив, Фрол оживлялся малость, бутылки пустые ему отдавали, он их потом сдавал и покупал себе "Приму", сигареты без фильтра, вонючие, но крепкие и дешевые.

Потом уже люди косяком не шли, но все-таки обязательно приходили, и часто Фролу перепало. Да тут еще держи ухо остро, рядом бродят еще несколько таких же, ищут пожи-

ву, отставной полковник с отчеством Адамович и другие, рангом поменьше. Драк из-за остатков почти никогда не было, потому что сил не было, только ругань.

Потом рядом открывался гастроном, Фрол теперь тут дежурил. Бывало он, страшно завидуя, смотрит на тех, кто бутылку купил, и кто-то не выдержит, и если собираются распить тут же под гастрономом, скажет: "Идем, дед!" Фролу-то всего сорок один год, но он уже давно ни на что не обижается. Обычно покупают "чернила" — крепленое с тяжким духом вино — и пьют его на строительстве дома, возле гастронома. На доски присядут, Фрол стоя жметяся, и ему нальют немного.

А иногда совсем везет. Прикатили как-то на такси не то воры, не то картежники, "каталы" по-местному. С деньгами и настроением хоть куда. Невтерпеж им было, и они с закупленной водкой и колбасой тоже пошли на строительство и Фрола прихватили. Полстакана водки налили и кусок колбасы "Докторской" дали. Фрол выпил, а это уж слишком много для него, слабого, изъеденного, стал всюю пьяным. Сказали ему: "Танцуй, рубль дадим...", он и танцевал, пока не упал. А полковник в отставке, с отчеством Адамович, за забором строительства ходил, сквозь щелку все видел и от зависти чуть не выл.

Ну, иногда удавалось на улице, с веревок, где белье сушилось, сорвать кофту или рубашку. И предлагал продавщицам из того же гастронома за бутылку вина. Но это дело хлопотное, пару раз хозяйки белья били Фрола, а одна даже три зуба выбила ему детским совком. А удирать уже не может — задышка.

Летом еще, благо кладбище рядом, таскали оттуда цветы, продавали дешево тем, кто на свидание или на именины шел. А под Новый год с кладбища елки тащили и продавали хорошо, потому что государственные елки пустобокие да рыжие, да и нет их часто, а с кладбища все хорошие.

Так вот, часам к двенадцати дня Фрол уже был "готов". Он тогда старался выпрямиться и шел плутанно домой, в свои одиннадцать метров комнаты, где его давно все бросили.

В комнате воняло всем на свете, и даже пьяницы не хотели сюда заходить. На полу лежал матрац, прожженный сигаретой в двух местах. А укрывался Фрол пальто. Черным, кем-то из пьяниц забытым. Спал Фрол пару часов, а после просыпался весь липкий, в том ужасном состоянии, когда из ветхого тела вышли все алкогольные витамины и умираешь, а выпить нечего. И снова Фрол тащился в магазин и ждал, стоял тусклой тенью, весь изжатый, полумертвый, с гримасой и окурком "Примы" на губе. Потом, к пяти-шести часам возвращались с работы, и опять кто-нибудь жалел и давал досмаковать бутылку.

Местные женщины уже не говорили о Фроле, как раньше, о том, что с ним стало, не жалели, а уже не замечали.

А потом была ночь, с часов трех ночи Фрол опять просыпался, и жутко просыпался, и даже стонать не мог, сходил с ума и, приходя в себя, тихо выл, как раздавленная колесами собака.

Когда-то всех удивляла фамилия Фрола — Ботичелли. Это не кличка, а самая фамилия. Но Фрол-то совсем на фамилию не похож: раньше глаза были не стеклянно-выцветшие, а голубые, и чуб был рыжевато-белый. А вот фамилия такая судьбой прицеплена. Наверное, из-за этого и отца его расстреляли в 1939 году. Ну, а потом все уже привыкли. Фрол когда-то даже умел врать про себя, что, мол, его предки итальянские какие-то бароны, ну а после, когда спился, то уже не мог про себя врать, а только смотреть по-собачьи и мог.

А однажды приходит участковый милиционер Кондратов, морда красная и волосы кудрявые, тоже пять лет как из деревни. Раньше грозился участковый отправить Фрола на принудительное лечение от пьянства, да все никак. Там переполнено, мест нету. А сейчас хватает его, куда-то везет, три дня Фрол умирает, бьется и хрипит, но выпить ему не дают, делают нервоуспокоительные уколы, таблетки дают снотворные, еле его успокаивают, в новый чужой костюм одевают и везут в райисполком. Там женщина одна, начальница по музеям и искусству, говорит ему: "Каким-то образом, мы еще выясним каким, заинтересовался тобой один итальянец,

из-за фамилии твоей. Знаешь, что с одним художником ты под одной фамилией, а? Ну и добился от правительства встречи с тобой. Сегодня и увидите. Чтоб ни слова! Говори, что работаешь, не ляпни, что жена тебя бросила, говори, что жена на курорте, дети в школе и ни о чем больше, понял!"

Приехал потом итальянец, спросил Фрола про предков. А Фрол молчит, икать вдруг стал. Про жену и детей вспомнил, сказал, как учили. А итальянца переводят: "Нет ли у Вас старых картин?" Фрол и сказал, что есть. Затрещал итальянец, и поехали к Фролу. Итальянца в дом не пустили, в машине ждал. Фрол пошел, взял приклеенную на стенке из "Огонька" картинку и вынес. Итальянец отдал ее обратно, и его увезли. А Фрол остался, и костюм забыли с него снять. Пошел он и продал его мяснику Саше за восемь рублей, и туфли за три рубля, и рубашку за один рубль пятьдесят копеек, с галстуком впридачу. Целых двенадцать рублей пятьдесят копеек. Купил он три бутылки водки и одну вина и повел полковника в отставку, с отчеством Адамович, к себе в комнату. Пили они, пили, а потом на матрац упали спать.

А когда снились Фролу пьяные сны, то были они очень страшные. Многие из них он скоро забывал, а некоторые долго помнил сквозь неразборчивый смрад воспоминаний, толкающихся у него в голове.

Однажды увидел он мать свою покойную, а какие-то люди от нее, еще живой, ногу отрезали и там, где ляжка, нарезали ножами тонкие кольца мяса, как для продажи. Бился тогда и плакал Фрол, от крика своего проснулся, не по-пьяному бился, не чувствовал в те минуты ужаса похмелья, нервы нашли в себе последние силы, восстали, не дали похмелью перебить удары человеческой боли. В зиму-то вообще страшно, и сны пострашнее. Было такое. Появилась во сне баба, вначале обыкновенная размером, растрепанная, с лицом просинившим, со ртом открытым, со слюной стекающей. А потом баба расти стала, огромной стала, погналась за Фролом, душить его начала и слюни, слюни на него пускать стала, и стал он задыхаться и тонуть в них, а баба в упор белыми глазами глядела на него. В тот день поутру умолил

Фрол однорукого сторожа Славку, которого тоже жена бросила, и тот дал ему пять рублей, и весь день Фрол пил, и плакал, и боялся засыпать. За все последнее время только один хороший сон Фрол помнил. Вроде он, сильный, валялся на свежескошенной траве, а девушка знакомая, которую он вспомнить потом не мог, гладила его, ублажала, венком из синих цветочков губы ему щекотала, грудь ее земляничная была открыта, и смеялись они оба, счастьем полные. Один раз только такой сон был, и хотел Фрол потом повеситься, но не смог.

Ну, а в этот вечер полковник проснулся первым, хлебнул недопитое из горла и Фрола давай толкать. А Фрол не встает, оказалось, что умер. Слил полковник в одну бутылку все недопитое и ушел к гастроному.

Через три дня Фрола обнаружили соседи. Отвезли его куда-то. Где-то кто-то его и схоронил. А полковник сказал так: "Нельзя было ему перерыва делать, организм привык. А вот сделал перерыв, и из-за этого организм не выдержал. Так что главное, не делать в этом деле перерыва." И за эти слова дали мужики допить полковнику из бутылки.

СОБИРАТЕЛЬ ГНЕВА

— Ну кто ж виноват, что у тебя такая рожа!

После этих своих слов Карапетян выпрямился, ожидая в ответ удара в лицо или инфаркта. Но тут он сам чуть инфаркт не получил.

— Никто не виноват, сама рожа виновата...

И голос был такой мягкий, и смущенный, и благожелательными еще какой-то неожиданный, доверчивый, что Карапетян застыл, переплавившись вдруг в изваяние. А на лице его, Карапетяна, столько проплыло всего, что никому того мгновения не понять и не запомнить.

Нервный, внутренний зуд Карапетяна не давал ему покоя. В последнее время никогда. И на съемках фильма он был такой и всегда и почти везде. Тянуло, ох, как тянуло его будить спящие струны человеческие, скрытые, далеко запряжанные. Неожиданностью поступка и слова — будить их. И, ожидая развязки, глаза его округлялись темными линзами, наливались черной, с серебряной поволокой сливой. И ждали. Ждали нового, неизведанного проявления гнева в человеке, ожидая его выплескивания наружу раскаленной добела яростью. Он знал множество проявлений гнева, его щеки держали в памяти все те нелепые удары, которыми награждали его взбешенные им люди. Они — мирные быки на пастбище Жизни, вдруг ни за что получали неожиданное оскорбление-удар и тогда, ничего не разбирая, слепые в своей ярости рвались к обидчику. И тяжело приходилось ему, если не успевали то варищи-друзья оттащить либо его, либо им обиженного, но чаще его.

И вкус крови во рту никогда не пугал его.

То была его страсть, его жутковатое хобби — собирать, наблюдать человеческие вспышки гнева. И в фильмах его больше запоминались сцены, где люди неистовали, надрывались, выталкивали из себя хрипящую обиду, обильно сдобренную поднявшимися из мрачных глубин сознания первобытными инстинктами. И не важна для него была причина ненависти, а важна была только ярко пылающая ненависть.

Но случалось, что оскорбленный человек сдерживал себя, гася бушующий пожар гнева холодной струей осторожности, накопленной опытом жизни, но по глазам Карапетян видел, что сердце человека бешено бьется, жажда отмщения и не получая его. Таких людей он совсем не переносил. Он был уверен, что такие люди предают свое сердце. Уж сколько он знал уничтожающих оскорблений, и все же некоторые люди вежливо отходили в сторону, сжигая внутренним огнем свои нервные клетки. И так бывало много раз, несмотря на то, что Карапетян был хилым, и могучими были только глаза, и несмотря на то, что это делалось на улице, в гуще толпы, каждый представитель которой считал себя поборником справед-

ливости. Таких людей он понимая — презирал. Он твердо знал, что каждый психически нормальный должен ненавидеть своего обидчика, что человеческая сущность не в состоянии не взрываться злостью в ответ на причиненную боль. И он хотел видеть эту обнаженную злость, чувствуя, что в этом кипении может выступить накипь того страшного, подспудного, живущего в бездонной глубине рассудка. И увидеть это — было для него высочайшей находкой. Как археологу увидеть редчайшую скульптуру, вырванную из наслоения веков, скульптуру, которая по его гипотезе обязательно должна была существовать.

Так он и жил, довольно известный режиссер, и многие считали его болезненные желания — экстравагантностью — то ли игрой, то ли манерничеством. Но это была, скорее, внутренняя потребность: в нем жило постоянное сосущее-голодное желание ученого-экспериментатора. Он не верил в сказки дедушки Толстого, а в религию он верил, как в теорию, как в прикладное искусство или благопристойную драматическую игру в справедливость. И ни разу во время его шаманских экспериментов, ни разу он не видел равнодушия к обидам. Люди или били его или трусливо уходили, но в их сердцах и глазах одинаково жутко полыхала ненависть. Однажды он увидел верх ненависти к себе. И это извращенно удовлетворило его душу.

В тот день он оскорбил одетого в штатскую одежду капитана милиции. Мутновато-карие глаза капитана катились ко лбу от ярости. В мгновение ока Карапетяна и двух его друзей привезли в милицейское отделение. Капитан сам его допрашивал. О, с каким удовольствием он избил бы сейчас эту бледную, похожую на жида, эту вонючую интеллигентскую сволочь. Но момент неудобный, рядом свидетели, друзья этой паскуды, и все они, как назло, трезвые.

— Ничего, сморчок, за оскорбление милиции я тебе подкину три годка... Ты у меня дерьмо будешь жрать, паскуда...

Но глаза Карапетяна были облиты сливовой изморозью спокойствия, и только сосущий интерес был в них к вулкану ненависти в этом кентавре.

Высшую точку кипения увидел Карапетян утром. Утром позвонил заместитель начальника милиции города и сказал, чтоб их отпустили. Друзья Карапетяна постарались. Все-таки оскорбил всего лишь капитана, оскорбление не политическое, ну, назвал его "сифилистичным педерастом с задницей вместо лица", ну ладно, нужен пока что, наверное, все-таки был выпивший... И вот тогда, когда их отпускали, Карапетян увидел, как из недр "капитанского болота" стали подыматься "ядовитые зловонные пары". Неудовлетворенное мщение заливало его лицо первобытной мутью, вены разбухали от желания душисть... Это было высшим проявлением гнева из всего, что когда-либо видел Карапетян. Подобного он больше не встречал.

...А вот сейчас, несмотря на все старания, его концепции рушились. В человеке, которого он только что оскорбил, не было и капли гнева к Карапетяну. Карапетян заискрился, ожил и, думая, что тот глуховат, выкрикнул фальцетом:

— Ты, харя свиная, ты, чья жена валяется со всеми... И ждал. Глаза его зоркими ночными совами смотрели в упор.

— И хари бывают свинные и жены плохие...

И дело было даже не в словах, а просто тут Карапетян понял, что в этом человеке нет той зеленой падали гнева, зарытой на диких окраинах наших душ. И он просто спросил:

— Ты что, отец? Может, выпьешь?

— Я не пью, раньше пил много...

Карапетян мелко глотал коньяк, брови — черные крылья по бокам согнутого носа, и рюмка под ним: вроде, как орел парящий держит в клюве серебристую лису. А за окном грустно выстроились в анфас прилизанные деревья. И сквозь них виднелась упирающаяся в кровотокающий закат, безумно доверчивая и отчаянно жестокая жизнь.

— Так ты на меня не злишься! Почему?

Старик молчал.

— Занятно, что у тебя за сердце?

— Нет у меня сердца. Я, знаешь, сына вчера схоронил. Он и унес его. Теперь я так жить буду, с одной душой... И светлосерые его глаза застыли на черных линзах Карапетяна.

Сергей ДОВЛАТОВ

КУЩОВ И ДРУГИЕ

Прежде чем выйти к реке, пересечь сливающуюся с горизонтом железнодорожную насыпь и идти по лежневке к лесоповалу, нужно миновать унылый поселок Иоссер.

Половина его населения — сезонники из бывшего ворья, у которых дружба и драка неразличимы по виду.

Окончив срок, надев гражданское тряпье, двадцать зим пролежавшее в каптерках, они шли за ворота, оставляя позади холодный стук штыря, и выяснялось, что желанная воля уже не связана для них с ощущением счастья, а превратилась в избитый песенный рефрен. Так много плакали, пели о ней, так горячо клялись, а вышли — и ни чисел тебе, ни имен!

Бог знает, на ком женились они, растили и калечили детей, внушая им мораль, закрепленную в страшных аллегориях: "Только мелкая рыба попадает на удочку..." В результате — лагерный кодекс, наряду с блатной повадкой и речью, так стойко укоренился в поселке, что даже третье поколение любой семьи тянуло "дурь", кололось морфином и ненавидело конвойные войска.

Для того, чтобы выйти к лесоповалу, минуя железнодорожное полотно и шаткие мостки над белой от солнца водой, нужно пересечь весь Иоссер с грязной площадью у шалмана, с безграмотными афишами Леонида Кострицы, с алебастровыми лирами над входом в местный клуб, с косыми избами и лавчонкой, набитой халвой и хомутами.

...Впереди шел Густав Пахапиль с собакой. Намотав на руку брезентовый поводок, он то и дело щелкал себя по голенищу и что-то говорил по-эстонски. Половину собак в питомнике он научил эстонскому языку, и кое-кто из вожатых был этим недоволен: "Ты ей: "К ноге", а она тебе в ответ: "Чего?"

Со стороны леса дорогу блокирует Пашка Чумак. Маленький и неуклюжий. Он спотыкаясь идет по обочине, то и дело снимает без нужды предохранитель. Вид у него такой, словно Чумака насильно привязали к автомату. Ээки не обращают на него внимания, а при случае не пощадят.

Год назад Пашка за какую-то провинность остановил этап, и, сняв предохранитель, загнал всю колонну в ледяную речку. Ээки молча стояли в воде, понимая, как опасен тридцатизарядный АКМ в руках истерика и труса.

Чумак минут сорок держал их под автоматом, распаяясь все больше и больше, затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком, колонна дрогнула, заключенные пошли.

Чумак стал пятиться, неуклюжий, маленький, в твердом полушубке, крикнул с побелевшими от страха глазами: — Стой, пала, приморю!..

И вот тогда-то из первой шеренги выступил рецидивист Купцов, он же Алямов, Коваль, Анаги-заде, Крупицкий, Гак, Шаликов, Рожин, и в наступившей сразу тишине произнес, отводя рукой ствол автомата:

— Ты загорелся — я тебя потушу.

Пальцы его белели на темном стволе. Чумак рванул на себя АКМ, дал слепую очередь над головами и все пятился, пятился.

Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука казалась изящ-

ной на темном стволе, мощные ключицы были видны под распахнутой в морозный день телогрейкой.

Представьте себе человека, который выглядит так, словно идет против ветра, и ветер всегда ему дует в лицо, куда бы он ни шел, что бы ни делал. Потом я видел Купцова часто: и в темной сырой камере изолятора, и у костра на лесоповале, и бледного от потери крови, но меня не покидало ощущение кружащейся над его головой бури и злости...

Мы переходим холодную плоскую речку, следим, чтобы никто из заключенных не спрятался под мостками, выводим бригаду к переезду, ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожное полотно и направляемся к лесоповалу.

Наша конвойная группа заводит бригаду в сектор охраны, передает в распоряжение сержанта Коваленко, и после этого наши обязанности меняются.

Пахапиль становится радистом, достает из сейфа Р-109, выводит гибкую, как бамбуковое удилище антенну, и роняет в просторный эфир республики Коми:

— Алло, "Роза", алло, "Роза", я — "Пион", я — "Пион", вас не слышу, вас не слышу...

Двенадцать сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день.

Я прошел мимо поваленной сосны, уступил дорогу тягачу и, защищая лицо от паутины, вышел через лес к инструменталке.

Ээки раскатывали бревна, рубили сучья, широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром.

— Навались, уркаганы! — крикнул он, заслонив ладонью глаза, — отстающих мы в коммунизм не возьмем!

Переговариваясь с часовыми, я обогнул лесоповал по линии охраны и вышел на поляну, тронутую слабым сентябрьским солнцем.

У низкого костра спиной ко мне сидел человек, на коленях у него лежала толстая книга без обложки, в правой руке он держал бутерброд с яблочным джемом.

— А, Купцов, — сказал я, — опять волинишь. В крытку захотел?

В отголосках трудового шума, на чистой лужайке под соснами у костра, он все равно был похож на морского волка, вцепившегося белыми пальцами в штурвал...

Зима. Штрафной изолятор. Длинные тени под соснами. Окна, забитые снегом.

За стеной, позвякивая наручниками, бродит Купцов. В книге нарядов запись: "Отказ от работы".

Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. Тридцать слов: "Бомж (без определенного места жительства). Боз (без определенных занятий), четыре судимости, девять побегов, гриф ООР (особо опасный рецидивист), тридцать два года в лагерях, вор в "законе", ни дня не работал..."

— Почему не работаешь?

Купцов звякает наручниками:

— Сними браслет, начальник! Твое золото без пробы.

— Почему не работаешь, гадина?!

— Закон не позволяет.

— А жрать чужой хлеб твой закон позволяет?

— Нет такого закона, чтобы я голодал.

— Ваш "закон" отжил свое. Все давно раскололись. Антипов стучит. Мамай у "кума" первый человек. Седой завис на морфине. Торчилу в Ропче повязали.

— Торчила был зеленый, как гушиное дерьмо, — сказал Купцов, — двинуть "угол" у старухи или карман отрезать — вот его фортуна.

...Передо мной, склонившись над пламенем низкого костра, сидит человек. На коленях у него белеет книга. В правой руке он держит бутерброд.

— Привет, начальник, — сказал Купцов, — вот тут написано, убил человек старуху, мучился всю жизнь и сам на каторгу пошел, а я знал одного домушника в Туркестане, за ним штук двадцать мокрых дел и ни одной судимости, так он лет до семидесяти прожил, дети, внуки, музыку в школе преподавал на старости лет... Более того, история доказывает, что можно

десять миллионов или, там сколько, угробить, а потом закурить "Герцеговину Флор".

— Слушай, Купцов, — говорю я, — ты будешь работать, клянусь. Рано или поздно, ты будешь стропалем, возчиком, на худой конец — сучкорубом. Ты будешь работать, а не то околеешь в изоляторе. Ты будешь работать, даю тебе слово. Или ты сдохнешь.

Купцов оглядел меня, как вещь, как заграничный автомобиль на Невском, окинул взглядом от радиатора до выхлопной трубы и внятно произнес:

— Я люблю себя тешить.

Он поворачивает ко мне розовое от пламени лицо, и мне снова видится капитанский мостик над волнами и волосы, откиннутые ветром, и в эту минуту ровное пламя костра, дым, медленно тающий в небе, сосны над головой кажутся странной иллюзией.

— Будешь работать?

— Нет. Я родился, чтобы воровать.

— Вечером в ШИЗО пойдешь на полпайка.

Купцов встает. Он почти вежлив со мной, тяжело поднимается, роняя с колен толстую книгу без переплета.

Где-то неподалеку с шумом падают сосны, задевая небо. Две недели Купцов сидит в изоляторе, без папирос, без воздуха, на полухлебе.

— Ну, ты даешь, начальник, — с каким-то веселым удивлением говорит он, когда я выпускаю его в зону.

И в тот же день у него в тумбочке появляется масло, джем, сгущенное молоко. Невидимая организация, тюремный рай-собес снабжает его всем необходимым.

Февраль. Мороз бродит вдоль забора, скрипит под сапогами часовых караульной смены. Длинные тени лежат среди сосен. Окна завалены снегом.

Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю дверь ближайшего корпуса. Грохочет привязанная к скобе эмалированная кружка. Значит в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами. Вокруг человек десять в нижнем белье.

Это — бура. Картеж без тактики и правил. Отличается от

преферанса так же, как пьяная драка от волейбольного матча. Никто не обращает на меня внимания.

— Стоп, ахуна! — орет карманник Чалый, — ни с места, всех пощекочу!

— Жадность фраера губит, — философски замечает валютчик Белуга.

— Полкуска с довеском, — тихо произносит кукольник Адам.

— Раздвигаю и вывожу, — резюмирует Купцов. Он держит банк.

Я мог бы уйти. Водворить на место эмалированную кружку, захлопнуть дверь и в клубах белого пара, вырвавшегося из натопленного жилья, пройти через всю зону, ориентируясь на окна КПП, туда, где тикают ходики, чайник греется на плите и Чумак говорит о любви. Но для этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти ночью в барак.

— Перед надзирателем положено вставать!

Я протягиваю руку, сгребаю со стола мятые податливые бумажки, сую в карманы и за пазуху.

Чалый хватает меня за локоть.

— Руки! — приказывает Купцов. И потом, обращаясь ко мне:

— Начальник, остынь!

Хлопает дверь за спиной. Гремит эмалированная кружка.

Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги, ощущая на плечах тяжесть всех рук, которые к ним прикасались, горечь всех слез, злую волю.

Я не заметил, как подбежали сзади, вокруг стало тесно, чужие тени кинулись под ноги, желтая лампочка в проволочной сетке ослепительно вспыхнула, мне вдруг стало тепло и тошно, и, не расслышав собственного крика, я упал лицом в белый снег...

В госпитале на Койне я лежал недели полторы. Над моей головой репродуктор, в гладкой фанерной коробке — музыка, сводки и новости. На спинке кровати висит полотенце, складки его кажутся голубоватыми.

За окном у самых стекол — солнечный зимний день. Аква-рельный пейзаж в оконной раме.

Сухое чистое белье, мягкие шлепанцы, застиранный теплый халат, легкая музыка из репродуктора, клиническая прямота и откровенность быта — все это помогало забыть изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автоматам часовых, лед по утрам в умывальнике и многое другое. И тем не менее я вспоминал Купцова настолько часто, что не удивился бы, пожалуй, войди он ко мне в своей лагерной робе и с книгой в руках. Я не знал, кто ударил меня ножом около стенда с изображениями передовиков производства, но чувствовал: где-то неподалеку от узкого белого лезвия, от крика, которого я не услышал, от губ моих в теплом снегу мелькнула улыбка Купцова, упала, как тень на его лицо...

После того, как я в шлепанцах и халате пересек заснеженный двор и, оказавшись в узком флигеле, с проклятиями натянул грубые солдатские сапоги, а потом в кабине лесовоза добрался до штаба части, меня вызвал полковник Гречнев. На его столе размахивал копьём чугунный витязь.

— Говорят, на тебя покушение было?

— Просто сунули шабер в задницу.

— Ну, и что хорошего? — спросил полковник.

— Да так, — говорю, — ничего.

— Как это было?

— Они в буру играли. Я отнял деньги.

— Когда тебя нашли, денег не было.

— Естественно.

— Ну, и зачем ты все это затеял?

— Такие вещи кончаются резней.

— Это в наших интересах.

— Нет, надо по закону.

— Товарищ полковник...

— По закону, товарищ полковник.

— Ладно. Считай, что я этого не говорил. Ты питерский?

— Так точно. С Охты.

— В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на Ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит: "Я из штаба части!", солдат ему отвечает: "А я с Лиговки!" Ты приемами самбо владеешь?

— Более или менее.

— С бабой справишься на сеновале? Короче, мы можем перевести тебя в другое подразделение.

— Нет, — говорю, — не надо.

— Счеты думаешь сводить?

— Не собираюсь.

— Вот и замечательно, — сказал он, — а то прижмуриться недолго, габариты у тебя подходящие, не промахнешься.

Штабная машина отвезла меня к переезду. Я шел по укатанной гладкой дороге, по испачканной конским навозом лежневке, пересек замерзший ручей и сопровождаемый собачьим лаем вышел к казарме.

Никто меня ни о чем не спрашивал. Только писарь Богословский усмехнулся и говорит:

— А мы уже тебя навечно в списки части занесли.

Впоследствии я узнал, что из штаба посылали военного дознавателя, который прочитал лекцию о вырождении буржуазного искусства, а на вопрос: "Как там наш амбал?" твердо ответил: "Следствие идет по верному пути".

С Купцовым я столкнулся в зоне перед разводом конвойных бригад. Он подошел ко мне, снял шапку и не улыбаясь спросил:

— Как здоровье, начальник?

— Ничего, — говорю, — а ты все в отказе?

— Пока закон кормит.

Мимо нас под звон сигнального рельса группами и поодиночке шли к воротам заключенные. "Бугры" ловили по баракам отказчиков.

— Работать не будешь?

— Нихт, — сказал он, — зеленый прокурор идет. Под каждым деревом хаза.

— Думаешь бежать?

— Ага. Трусцой. Говорят, полезно.

— Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения.

— Само собой, — ответил Купцов и подмигнул.

Я схватил его за борт телогрейки.

— Послушай, ты один. Воровского закона давно не существует. Ты один.

— Ага, — усмехнулся он, — солист. Выступаю без хора.

— Ну и сдохнешь. Ты один против всех, а значит — неправ. Купцов произнес медленно, внятно и строго:

— Один против всех обязательно прав.

И вдруг я понял, что рад этому человеку, который хотел меня убить, что я нуждался в нем все это время. Это было так неожиданно, глупо, безумно.

Я повернулся и зашагал прочь, начиная догадываться о том, что мой кровный враг рецидивист Купцов, он же Алямов, Коваль, Анаги-заде, Крупицкий, Гак, Шаликов, Рожин — последний законник Усть-вымского лагпункта — мне так же необходим, как солдатское товарищество, на которое я израсходовал последние крохи своего идеализма и терпимости.

И еще я почувствовал, как он устал.

Сестра Инна рассказывала мне в письмах о своей первой любви. На вечере Стравинского она познакомилась со студентом-живописцем Шевеленко. На мою сестру он не обращал внимания. Инна купила себе абонемент в филармонию на те концерты, которые он посещал. Едва оказавшись в фойе, прохладном от высоких мраморных колонн, она не глядя по сторонам, догадывалась женским чувством о его присутствии. Она моментально и безошибочно находила его в толпе. В то время как сама была для Шевеленко зрительным залом, не больше.

Нечто подобное испытывал я. Стоило мне появиться в бараке, в столовой, в кузове автомобиля, и тотчас же, не глядя, я чувствовал, где он. Я узнавал Купцова, подобно тому, как в хорошем среднем фильме зритель узнает злодея, который не вызывает у него страха, но будоражит чувства.

Мы втроем на КПП. Пашка Чумак молча пошевеливает в печке дрова. Козырек его фуражки сломан и напоминает птичий клюв.

Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега валенках. Ее смешат ходики и фуражка Чумака, а когда она

замечает пирамиду с автоматами, в ее лице появляется что-то детское.

— Фамилия наша Купцовы, — говорит она, развязывая платок.

— Свидание не положено.

— Я ж издалека...

— Не положено, — твердит Чумак.

— Мальчики...

Пашка молчит, наклоняется к женщине и что-то шепчет, наглей и стыдясь.

Вводят Купцова. Он идет по-блатному, как в миру, приподняв плечи и спрятав кулаки в рукава. Он останавливается в проходном коридоре, заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит, вцепившись в решетку белыми пальцами.

— Боря, — шепчет женщина, — совсем зеленый...

— Как огурчик, — криво усмехается тот.

— Свидание не положено, — говорит Чумак.

— Оне тут предложили, — женщина с тоской поглядывает на мужа, — мне срамно повторить.

— Найду, — тихо, самому себе говорит Купцов, — на краю дна... Хлеба мне не есть!..

— Ну-ну, баклань, — угрожающе произносит Чумак, — в изоляторе клетка пустая...

И потом, обращаясь к дежурному надзирателю:

— Увести.

Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой.

— Соглашайся, Тамара, — неожиданно и внятно шепчет он, — соглашайся, чего говорили начальники...

Надзиратель берет его за локоть.

— Соглашайся, Томка, — шепчет он.

Надзиратель тащит его прочь, почти срывая робу, так что видны худые мощные ключицы и синий орел на груди.

— Соглашайся! — все еще кричит и умоляет Купцов.

Я распахиваю дверь, выхожу на дорогу. Громяющий лесовоз ослепляет меня фарами, а в наступившей вслед за этим кромешной тьме дорога уже не видна, и едва различимы

силуэты деревьев. Я оступаю, падаю в снег, вижу небо белое от звезд и дрожащие огни над лесобиржеи, вдруг чувствую запах ветра и рыбы на морском берегу, вспоминаю девушку, которая всегда была права, и то, как мы сидим с ней рядом на днище перевернутой лодки, и она смеется: я только что поймал крошечного окунька и бросил в воду, а потом уверял девушку, что рыбка успела крикнуть: "Мерси".

Когда я зашел на вахту, Чумак, морщась от огня, выгребал угли. Инструктор грел пальцы, сжимая стакан с крепким чаем. Пират лежал у его ног. Женщины не было.

— Такая баба Нюрка, — говорил Чумак, — к ей придешь, тебе и водка, и закуска, и это дело. Она солдата уважает. Завалишься — машинально, айн момент, тебе пол-литра белого, закусь, это самое, и главное — все душевно: Паша, Пашенька...

— Нельзя ли договориться, — вяло сказал Пахапиль, — чтобы она мне выстирала портянки?

Наступила весна. С последним черным снегом ушло особенное зимнее тепло. По размытым лежневым дорогам медленно тянулись дни.

Весь месяц Купцов просидел в изоляторе. Он отощал, под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Он вел себя тихо, но однажды кинулся на Пашку Чумака, который пришел ко мне за конвертом. Я не удивился. Когда люди с собаками преследуют волка, он ненавидит весь мир, но все-таки больше собак, чем людей.

Каждый раз, когда я выпускал Купцова в зону, книга нарядов пополнялась короткой записью: "Отказ от работы".

Начальник конвоя в зеленом плаще с капюшоном осветил карманным фонариком список.

— Лесоповал на выход! — скомандовал он.

Мы приняли бригаду у ворот производственной зоны. Пахапиль, сдерживая пса, ушел вперед. Пашка Чумак спотыкаясь брел вдоль обочины, а я, выждав дистанцию, оказался сзади.

В ста метрах от лесоповала мы встретили караульный взвод. Все часовые были в полушубках, а в руках они несли валенки.

Пахапиль остановил бригаду, взял поводок в левую руку и, прикоснувшись к козырьку, начал докладывать.

— Отставить, — прервал его начальник караула.

Высокий и рябой, он кажется сонным, даже когда бегаёт за водкой. Служебные функции и яркая индивидуальность сержанта Коваленко проявляются лишь во время чрезвычайных происшествий. Все, исключая ЧП ему давно наскучило.

Коваленко пересчитал заключенных, вывел в предзона одну шеренгу за другой, махнул часовым, и они ушли на посты, волоча за собой американские телефонные аппараты и подсумки с магазинами.

Пахапиль вынул из сейфа рацию с гибкой, как удилище, антенной и огласил небесные сферы таинственными заклинаниями:

— Алло, "Роза", алло, "Роза", я — "Пион", я — "Пион", сигнализация в порядке, запретка распахнута, урки приступили к работе, вас не слышу, вас не слышу, прием...

Под неприятный скрежет засова я вошел в производственный сектор и направился к инструменталке.

Со мной разговаривали, я отвечал и, нагибаясь под ветками, шел через лес к поляне, где возле огня сидел на корточках человек.

— Будешь работать?

— Привет, начальник.

— Не работаешь, бес?

— Нет.

— Две недели ШИЗО.

— Начальник...

— Будешь работать?

— Начальник!

— Возчиком, стропалем, сучкорубом?

Я подошел и пинком разбросал костер.

— Будешь работать?

— Да, — сказал он, — пойдём.

— Сучкорубом или возчиком?

— Да. Пойдем.

— Иди вперед!

Он шел впереди, поддерживая ветки, ступая в болото, не глядя...

Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Нарядчик подал ему топор.

— К Бусыге в бригаду пойдешь?

— Да.

Пальцы его неумело сжимали конец топористища, кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке.

Ох, как я хотел, чтобы он замахнулся. Я бы успел скинуть бушлат вместе с двадцатью веками цивилизации, я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче, я бы вырвал топор, блокировал свободную руку, подсек и крикнул...

— Ну! — приказал я, стоя в двух шагах, ощущая каждую травинку под сапогами.

— Ну, — сказал я.

Купцов медленно опустился на колени возле пня, уложил правую руку на свежий шершавый мерцающий срез, поднял топор и, опережая все, опустил его до самого стука.

— Наконец-то, — сказал он, истекая кровью, — теперь хорошо...

С тех пор прошло восемь лет. Я живу у Пяти углов в старом коммерческом доме. Окна моей квартиры выходят на помойку. Каждое утро я с продовольственной сумкой иду в магазин за едой. Моей жене кажется, что я должен быть в курсе политических событий. Она с шуршанием разворачивает у меня за спиной газету.

В этот утренний час я жизнью доволен, может быть, с той оговоркой, что меня почему-то раздражает, если кто-то стоит за спиной.

Моя жена шуршит газетой, надевает очки и бодро производит:

— Ну-ка посмотрим, что делается на белом свете...



Леонид ГИРШОВИЧ

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ

Опыт в бытовом жанре.

Девочка Лиля была равака. Она владела квартирой в Кирьят-Шарете, подаренной ей мистером Джоной Полляком, чикагским жителем, работала в банке и в субботнем "Маариве" в столбце "бат-зуг" значилась устроенной. Четыре года назад, в возрасте, когда Лильян Харвей отказали почки, Лиле отказало благоразумие. С тех пор ее Казанова — хотя она не упрекнула его ни словом, ни взглядом — вместо благодарности только тем и занимался, что "вставлял ей палки в колеса, пользуясь служебным превосходством" (формулировка Лилина). Девочка открытая и чуждая швейцарства, она в бесхитростных выражениях поверяла свои беды подругам, за что те ее любили — как более благополучные, так и ей сродные горемыки.

— Вот если б он был женатый, — говорила Лиля и скромно поясняла: — женатые довольствуются меньшим.

Теперь самый раз сказать о мистере Джоне Полляке. С этим мистером Лиля познакомилась в Иерусалиме, будучи там с экскурсией еще, как говорится, на первом месяце своего пребывания... Мистер Полляк, по оперению ярчайший представитель пожилых заморских попок, стоял в группе себе по-

Равака — холостая.

Бат-зуг - дословно: женская пара; под таким заголовком печатаются брачные объявления для мужчин.

добных, но почему-то, судя по направлению его взгляда, упорно отказывался следить за объяснениями гида — если только предметом этих объяснений не была Лиля. Не зная, что подумать, Лиля все же решила не думать дурно и застенчиво улыбнулась. По независимым от нее причинам — о коих будет упомянуто через... раз, два, три... через восемь предложений — иначе она улыбаться и не могла. Между тем, американец, поощренный, вступил с ней в беседу. Незнание языка частенько оборачивается неумеренностью в изъяснении чувств. С неизвестно откуда взявшимся пылом Лиля начала доказывать приставшему к ней дядечке, что кол Исраэль хаверим, что тот, собственно, и без нее прекрасно видел. Тем не менее, свитая из "лет май пипл гоу" и "шалах эт ами" (явление типичное: крохи английского поглощаются начатками иврита) Лилина речь оставила глубокое впечатление на мистера-твистера. Факирским движением он извлек вдруг — не то из воздуха, не то из рукава — 10\$ и протянул их Лиле. Лиля ни чуточки не обиделась, решив, что у них там так принято, хотя денег не взяла. Но, видимо, у них там так тоже не было принято, фокусник как-то сразу смутился, стал оправдываться и наконец сказал:

— Вы так похожи на мою бедную девочку, умершую в пять лет.

И как минутой раньше в его пальцах оказалась денежка, так теперь в них появился снимок ребенка с хорошенькой заячьей губкой. Лиля взглянула и застенчиво улыбнулась.

От природы она была честна — природа, что магазины в Пинске, дефицитный товар отпускает не иначе как с нагрузкой; она вполне честно признавала, что благодетель ее, несмотря ни на что, всего лишь одинокое старое животное, мелочный и глупый — даром что в тот же вечер в ресторане он сказал ей: "Когда выйдешь замуж, я куплю тебе машину". Это, однако, позволило ей к слову "устроенная" присовокуплять еще слово "мехонит". Увы, газетное поприще не принесло Лиле успеха. Последняя же неудача была столь

Кол Исраэль хаверим - В сегодняшнем Израиле то же, что "человек человеку друг, товарищ и брат".

Шалах эт ами — Отпусти народ мой.

Мехонит — автомобиль.

чувствительна, что на этом ее сотрудничество в разделе "бэт-зуг" прекратилось. Ее корреспондентом оказался мужчина с зубами, козырьком закрывавшими нижнюю губу. Вдвоем они выглядели ужасно.

В момент, когда пишутся эти строки, Лиля собирается в гости к одной знакомой девочке, Гене Шварц. Стоя в ванной перед зеркалом, она осторожно пририсовывает себе верхнюю губу. Несколько дней назад обе девочки встретились в галантерейном магазине: Лиля покупала деревянные ручки к уже почти связанной ею сумке, а Геня рылась в кожаных брелоках, отыскивая инициал мужа. Когда "Q" было найдено — муж носил редкое имя — Геня неожиданно для Лили пригласила ее к обеду, прозрачно намекнув, что там она, возможно, встретит "своего пару" (да простится нам эта толика гебраизма).

Возможный Лилин "пара" уже во второй раз пропускал свою очередь на ширут, отправлявшийся в Кирыят-Шарет, потому что до сих пор еще не решил окончательно: ехать к Шварцу или нет. С одной стороны, он был не прочь пообедать, но с другой стороны, инстинкт самосохранения удерживал его от этого. Инстинкт этот развит в нем был до такой степени чрезвычайности, что даже на лице его, казалось, было написано: я — мальчик хитрый, меня не проведешь — и странное дело: надпись эта проступала тем явственней, чем неуверенней и смущенней он себя чувствовал. Обычно в такие моменты он становился важным, смотрел на всех с презрительным прищуром, но при этом, сам не замечая, что-то нервически теребил пальцами в кармане. "А что все-таки Шварцу надо? Зачем он ко мне позвонил?" Эта мысль свербила в его мозгу и сейчас, и час назад, когда он одевался — зимой он старался носить кожаные вещи, — и третьего дня... Вдруг он вспомнил, как Шварц в последний их милуим говорил, что собирается якобы открыть свое дело. "Неужели гарантия?! Гад..." Надо отдать должное этому человеку, не ве-

Ширут — маршрутное такси.

Милуим — регулярные армейские сборы.

рившему в бескорыстное желание кого бы то ни было понаслаждаться его обществом часок-другой... пускай даже опыт и настороженность в его случае взаимно питали друг дружку. Самые вздорные из его опасений в той или другой форме, почти всегда навыворот, но неизменно оправдывались, словно окружающее в отместку за дурное к себе отношение платило ему той же монетой, а он, не видя в этом ничего фатального, только получал лишний довод в пользу того, что он — мальчик хитрый.

Теперь он стоял, пораженный своим внезапным прозрением, стоял, стоял, да как чихнет — едва только успел поймать в кулак вылетевшую из горла дрянь. "Вот, на правду, точно гарантия. Тысяч на двадцать, или даже на сто. Нэма дурных". И уже совсем было повернулся он, чтобы идти домой (и уже плакал наш рассказ), как поворачиваясь он увидел проходящего мимо соседа, преклонных лет интеллигентного львовца, а львовец увидел его и, как человек интеллигентный, уже спешил обменяться рукопожатием.

— Извиняюсь, у меня в руке птичка.

После этого ему ничего не оставалось, как самому впорхнуть в подъехавшее такси. Там, уткнувшись в стекло, незадачливый пассажир размышлял о двух вещах — и тоже не преуспел: нельзя думать разом о вещах столь далеких — а именно: куда деть птичку и как зовут Шварца.

Телефонный благовест не прекращался в доме все утро. Звонили к Гене, звонила сама Геня, потом опять звонили к ней. Женские голоса сменялись мужскими, молодые — старыми, иврит чередовался с русским и английским. Тут же что-то стиралось, стиралось, тут же играло радио и крутился еще не спроваженный с соседкой на улицу шестилетний Пашка. Геня, не одетая — в буквальном смысле слова — металась среди всего этого, каждые пять минут переменяясь в настроении и соответственно суля Пашке то неземные блаженства, то битье и головомойку. К полудню все как-то унималось, звонки становились реже, Пашка оказывался пристроенным к какой-нибудь прогуливающей свое дитя соседке, а уморившаяся Геня усаживалась за стол, ставила пе-

ред собой кастрюлю или порыжевший советский казанок и прямо оттуда руками начинала уплетать — жадно, обжигаясь, а главное — совершенно не чувствуя что. Нередко муж возвращаясь заставлял ее в таком виде, тогда молча он брал в руки ложку и присоединялся к ней.

Когда по радио пропикало час, уже час как умолкший телефон вновь зазвонил. Не зная, кто там и сколько может продлиться беседа, Геня берет с собой тарелку, стараясь при этом прожевать кусок пирога прежде, чем скажет "алё".

— Ахо, — это сопровождается отчаянным глотательным движением. — Нет-нет, что ты, мама, — и сразу же во рту появился следующий кусок — и одновременно мысль: "Вот на кого бы сегодня сбыть Пашку..." Хо а хем? (Что я ем?) Сыкуку мококу... Уже прожевала... Нет, его нет. Они пошли с Пашкой гулять — еще кусочек, — скоко букут. У нас сегодня гости... Нет, товарищи по работе. Устала стра... Ах, тоже гости... — страшное разочарование, последний кусочек — Кококо, кококо... Да, мама, хорошо. Ой! У меня, кажется, звонок в дверь, ну пока.

Геня села в кресло и задумалась. Затем сняла трубку и стала набирать номер. Она отнюдь не была врушкой-пустозвонкой (то есть врушкой пустого завирушничества), для каждого вранья у нее имелась какая-нибудь причина. К примеру, выдав предстоящий обед за банкет сослуживцев, иными словами, за нечто серьезное и сугубо мужское, к чему мать не могла не отнестись с пониманием, она втайне лелеяла надежду препоручить Пашку чужим заботам. Сорвалось с крючка. Далее, сказав, что ест "сыкуку мококу", она счастливо избежала нотаций, поскольку известно, что сырая морковь полезна для глаз, а вот для чего пироги полезны — это еще никому не известно. Наконец, отправив Пашку гулять с отцом — еще с вечера отбывшим по долгу службы и честной клятвы в направлении гор Гильбоа, — она отвела от себя подозрение, что Пашенька, не приведи Бог! гуляет с соседкой. Что же касается мнимого дверного звонка — то кто тут бросит в бедную девочку камнем, это даже и не вранье.

— Алё, Нолик?.. Нет, не Илана... Тоже нет... Только, пожалуйста, не делайте вид, что вы хуже, чем есть на самом деле, вам это не идет... Ах-ха-ха... Никакая Марина или Илана вам этого не простила бы... Ка-ак? И до сих пор не узнали? это Геня говорит... (За каждой фразой чувствовалась улыбка молодой женщины.) Не верю, не верю, не верю... Ни единому словечку... Ну уж извините и подвиньтесь, это вы нас забыли, не звоните, не заходите... Ну, что вы поэт — это я и так знаю... На цитату берете? Пожалуйста, возвращаю вам ее: поэтом можешь ты не быть, а человеком быть обязан... Что?. Ах-ха-ха... Нет, серьезно, я на вас обижена... Нет, неискупима... Как? Соломинку надежды? Ах, какая прелесть. Ну, так и быть. Чтобы сегодня вы у меня были к обеду... Да. Получите много пищи для творчества... Ах-ха-ха, и такой пищи тоже... Не угадаете — хочу сосватать одну дурочку... Да нет, крокодил... Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Нет, общество защиты животных мне ничего не платит... Совершенно бескорыстно, я такая... А серьезно, почему бы не сделать человеку доброе дело... Вот не могу сказать, ни разу его не видела... Если она его с собой приведет, то какое же это сватовство... Да какой-то там его друг. Эти друзья, вы же понимаете... Да, вы же понимаете... Нет, не согласна, можно быть очень интересным мужчиной и в то же время застенчивым... Ну, хорошо, не будем спорить, аикар, чтоб вы пришли. Вам разрешается захватить с собой свою семиструнную подругу... Что? Ах-ха-ха, нет-нет, семиструнную, другой не надо. И новых песен... Непременно, слышите, для меня. Я хочу новых песен... Ну, конечно: и песню с собой не забудь... Тогда, может быть, я еще подумаю... Что? Эту самую? Ну, конечно, я ее видела, она такая сабровка стала...

И разговор продолжается, продолжается, только с нас покамест довольно, мы еще сегодня этих разговоров наслаждаемся. Не угодно ли для разнообразия немножечко мертвой природы: свежей птицы, парной рыбы, перепалок и куралеток, пустопорожних пит — словом, немножко снердеса. Намечае-

А икар — главное.

Сабровка — коренная израильтяночка.

Пита — хлебная лепешка.

мые Геней к предстоящему обеду кушания суть мясной бульон с добавлением туда двух чайных ложечек куриного концентрата "Osem" (следите за рекламой) и к нему горячий лапшенник (зэтов, зэ "Osem"), на второе — мясо из бульона, обжаренное в бляйце, с вермишелью на гарнир и двумя видами салатов: салатом "майонез", вторым составляющим которого являлись макаронные кохавчики (нам звезды Oseta сияли) и салат "хацилим", на третье же — нет, никто не угадает, что на третье, пирог был уже умят Геней более, чем наполовину, и подавать его не имело смысла, а посему на третье — но это сюрприз...

"Если б она взяла к себе ребенка, я бы отправила их потом сюда", размышляла сама с собою Геня, все еще лелея в мыслях несостоявшееся. Черта, присущая многим. Она стояла в Пашкиной комнате, машинально выковыривая ногтем большого пальца ноги пластмассовый глаз какому-то зверю. "Вот здесь бы лежал "Плэйбой". Диванчик, "Плэйбой" — и вокруг детские игрушки. Лучше и не придумать".

— Пашка! Иди сюда, где ты! — ей пришла в голову мысль.

Пашка уже вернулся и, снявши сапожки, слонялся по дому в одних носках — сползшие с пяток, они напоминали теперь утконосную обувь времен Варфоломеевской ночи.

— Эй, парень, — сказала Геня, что одно уже служило для Пашки хорошим знаком. Желая еще дополнительно подольститься к ней и одновременно оправдать эту благорасположенность, он сказал:

— Мама, Арик раца латет ли цукария, аваль ло лакахти.

Это была неправда. В действительности Арик, зная, что его соседу запрещают есть конфеты, за спиной матери предлагал ему их с тем, чтобы, едва лишь Пашка протянет руку, сожрать все самому. Это повторялось из раза в раз, но Пашкина доверчивость, казалось, не знала границ.

"Зэ тов, зэ "Osem" — Радиореклама "Это хорошо, это — "Osem".
Бляйца — яйцо.

Кохавчики — звездочки, от "кохав" (звезда).

Арик хотел дать мне конфетку, а я не взял.

— Ну, хорошо, молодец. А скажи мне, Пашка-какашка, ты очень хочешь конфету?

Наученный горьким опытом Пашка молчал. Тогда Геня вышла на кухню и вернулась с тремя запечатанными целлюлозидными мешочками — в одном лежали "Elite", бонбошки, состоящие наполовину из желе, наполовину из помадки и облитые шоколадом, в другом лежали, на наш вкус, действительно неплохие конфеты — цукаты в шоколаде и в третьем — редкостная дрянь, резиновый мармелад ("гумми-яин"), который Геня почему-то любила и чаще всего покупала.

— Слышишь, Пашка, если хочешь, то все это можешь съесть. Один.

Пашка молчал, напряженно размышляя, зачем матери понадобилось его обманывать. В том, что она лишь дразнится, сомнений быть не могло — он скорее готов был поверить Арьке, что тот рано или поздно даст ему конфету, нежели матери.

— Но при условии, — продолжала Геня, — если будешь человеком. У нас сегодня гости. Когда я скажу, чтобы ты шел к себе — чтобы немедленно убирался, без капризов. Но, слушай внимательно, пойдешь в нашу с папой комнату, понял? Там будешь сидеть и там будешь есть конфеты, сколько влезет. Хоть все. Договорились?

Надо сказать, что маленькие дети в запретах видят лишь доказательство того, что они родителям своим небезразличны, и потому любое наказание, совершенное отеческой рукой, предпочтут словам: можешь делать, что хочешь. Когда же вдруг без всякой видимой причины — ранее данного обещания и т.п. — запрет снимается, то ребенок пугается. Именно это и произошло с Пашкой. В страхе, что мама уже больше не мама, что его комната уже больше не его комната, он разревелся. Геня растерялась. Сознывая всю нравственную слабость своей позиции, она схватила сына и стала его зацеловывать, тут же гарантируя ему три главных в его представлении блаженства: театрон, ролики и капитанскую форму на пурим. Эту бурную сцену прервала соседка, у которой кончилась какая-то крупа. Геня "отложила" умиротворенного Пашку в сторону и полезла в свой лабаз.

— Столько тебе хватит? — спросила она, доставая синий жестяной параллелепипед, разрисованный чем-то аленьким, с четырех его сторон было написано "ВДНХ".

— Спасибо, более-не-менее, — сказала соседка, забирая параллелепипед.

— Погоди, Вика, я о чем-то хотела тебя попросить... — Геня сосредоточила брови на переносье. — Да, ты не могла бы одолжить мне на сегодня свой "Плэйбой"?

— Я уже дала его в восемнадцатую квартиру, — ответила Вика.

— Ага. Ну, ладно, схожу к ним.

Когда дверь закрылась, Геня весело крикнула:

— Пашка!

— Что, какашка? — откликнулся в тон ей Пашка. Он уже совсем успокоился, и будущее представлялось ему в самых розовых тонах.

Шварца звали Кварц. Все же (!) формирующее — или деформирующее — влияние имени на личность нам не известно. Вопрос: что представляли бы собою пунктирно обозначенные, как возможные кандидаты в Шварцы, Шмулик, Саша и Персей — первый прячется от дворовой ватаги, другой — участник математической олимпиады, ну, а третий... велел подать себе "Биржевые ведомости" — вопрос этот — гносеологический родственник (младший брат) величайшему вопросу современности: что бы было, если б был жив Ленин? Кварц же Шварц еще в детстве представлял собою мальчика да умеющего за себя постоять. Когда твое имя рифмуется с фамилией, а впридачу от природы ты еще получил крепкую грудь и крепкий лоб с выпуклыми висками, то умение "да постоять" вырабатывается организмом едва ли не как род фермента, вместе с пепсином, трипсином или еще каким-нибудь там "псином". Впоследствии это приводит к одной замечательной штуке — к отождествлению себя со своим телом. Нередко лицо "да умеющее"... смешивают с лицом, которое "нигде не пропадет". Это заблуждение. Случается, что его разделяют даже лица первой названной категории, к примеру,

Шварц. Тогда они пускаются во всевозможные предприятия, проявляют чудеса энергичности, однако...

Как заводной автомобильчик, носился автомобиль старателя Шварца по Израилю, но увы, все напрасно. Не цеплялись обездоленные вдовы с плачем за его бамперы, не слали вослед ему проклятий разоренные седые халуцы, и даже скопления русалок в речке-рабатгайке не наблюдалось... Хотя — вот опять проезжая Рамат-Ган, по дороге домой, Шварц сбил одну тремпистку — разумеется, с пути истинного. Грехопадение было назначено на вечер; сбита проявила исключительное понимание легкого иврита, на котором устами Шварца делал ей предложения сатана. На радостях, Шварц, забежавший на минутку в кафе за сигаретами, решил позвонить к Гене. При звуке телефона Геня — процитируем классика — покрутила вытянутыми губами, как рыльцем.

— Да.

— Х. на, — ответил родной голос. Промеж собой супруги всегда были запросто.

— Ах ты, е.м. Ты где?

— В... Провернул одно дельце. Что у тебя?

Нет, нет, больше сквернословия не будет. После того, как мы столь удачно ввели читателя в атмосферу семейно-бытового диалога, своей авторской властью мы вынудим их быть паиньками.

(Скажут: это нанесет урон правде жизни.

Ответим: правда жизни ненасытна, она сперва наступает на пятки, потом — на горло. Видя, что ты поддаешься, она требует от тебя все новых и новых жертв. Скажи ей: нет. Скажи ей, что она недостижима и ненужна, что ее попросту нет — ни жизни, ни правды. Вот и весь сказ.

Скажут:.....

Ответим: лицемерие — это тоже "резиновый дедушка". По мне лицемер — кто не перематерит меня хорошенько, по тебе — кто не ест с ножа и говорит "пожалуйста". Если же спросить у людоеда, то по нем лицемер, кто не ест.....

Халуц — первый поселенец.

Тремпистка — лицо женского пола, останавливающее попутную машину.

Короче, сызнава диалог.)

При звуке телефона Геня...

— Ахо.

— Все жрешь, — сказал родной голос. Промеж собой супруги всегда были запросто.

— А тебе и жалко, да? Ты где?

— В Рамат-Гане. Провернул одно дельце. Что у тебя?

— Ничего. Нолик Вайс звонил. В гости напрашивался, я его позвала тоже.

— Ну и артист. И ты тоже... Без этого кривляки никак не можешь. Во все дыры пихаешь.

— Дурной ты какой. Я же тебе объясняю, что он сам позвонил, — Геня разозлилась, правда глаза колет. — Что он тебе сделал, хочю я знать?

— Раздражает. В морду охота дать.

— Кроме как в морду, ты ничего не знаешь.

— Сю-сю-сю, сю-сю-сю, на тебя, когда он приходит, смотреть противно. "Ноличка, сю-сю-сю".

— Ты бы на себя посмотрел, как ты вокруг него плясешь, геро... ой, кажется, звонок в дверь. Пока. Приезжай уже, слышишь, Кава?

Звонок был долгий. За дверью стоял друг Кварца по боевой колеснице. Геня отпирала дверь и одновременно пряталась за нее.

— Входите, но не смотрите на меня, — на Гене еще не было платья. — Кварц скоро будет.

— О! — воскликнул вошедший с непосредственностью того ребе, что вспомнил, наконец, где оставил свои галоши. — А меня — Бóрис. — Пустоту же, зиявшую перед противительным союзом, он оставлял на усмотрение хозяйки.

Разрешив таким образом первый из двух мучивших его вопросов, Борис одним махом разделался и со вторым:

— Где у вас удобства?

Геня похолодела: вежливый гость сам решил закрыть за собой входную дверь.

— Нет, нет, не надо! — крикнула она.

— Да что вы боитесь, — сказал Борис-То, чего вы стесняетесь, я видел много раз, — и закрыл дверь.

— За кухней налево, — прошептала пунцовая Геня.

В туалете Борис разжал кулак и вытер ладонь о пипифакс.

— У вас отличная промакашка, мягонькая-мягонькая, — крикнул он Гене через неплотно затворенную дверь. Он уже думал утопить свою "птичку", но вспомнив, что тогда придется слить воду, только понадежней завернул ее и вынес в кармане.

Не слыша звуков ниагары — Борис намеренно не запер дверь, чтобы было явно, что у него там "что-то другое" — Геня в гневе отправилась ревизовать туалет, но — была посрамлена.

— Вот так они и жили, — сказала она, появляясь уже при параде и разводя руками, как бы указывая на стены салона.

— Кто "они"? — спросил гость.

"Э, да ты совсем идиот", подумала Геня. — Это поговорка такая.

Наступило молчание. Гость и хозяйка собирались с мыслями. "Они с Лилечкой — два сапога пара", думала Геня. Борис же думал: "Сказала бы сразу, на какую сумму подписывать".

— Ну, как вам наша квартира? — спросила Геня, глядя на часики: что-то Лиля запаздывает.

— Видали и получше, — последовал ответ. — А что, большое дело с мужем открываете?

— Какое дело? — С каждым новым словом гостя Геня все сильнее проникалась одним страшным подозрением.

— Ну, со мной-то чего крутить... раз уж я гарантию даю.

— Какую гарантию? О чем вы? Паша! Паша! — "А что Паша? Разве Пашка мать защитит? Итак: он ненормален, возможно маньяк, я с ним наедине, видел тело". — О-о, мужчину бы сюда... — едва ли не вслух простонала Геня.

— Послушайте, я тоже немножко коммерсант. — Борис угрожающе встал. — И в финансах я тоже волоку. На сколько тысяч вам надо гарантию?

Слово "волоку" Геню успокоило. Это было первое нормальное слово, которое она от него услышала. "А может, и в самом деле Кавке нужна гарантия?"

Появился Пашка, как-то бочком, помялся, помялся и исчез.

— Застенчивый, — сказала Геня и продолжила уже помягче. — Видите ли, я не знаю всего, что там у Шварца делается. Но, во всяком случае, мы такие люди, что последнее в доме продадим, а с долгами рассчитаемся.

— Так все говорят, — плаксиво сказал Борис.

"А вообще-то Кавка свинья, — подумала Геня. — Вот столечко не сделает, чтобы себя не забыть". — А что, я не понимаю, он вам сказал, что хочет, чтобы вы у нас были жарантом?

— Это и так ясно. А чего ради еще человека звать? Не за красивые же глаза, — он принужденно засмеялся.

"Ну, во всяком случае, твоей жене с тобой скучно не будет", подумала Геня. И сказала: — О, как вы ошибаетесь, как вы еще нас не знаете. Мне Кава говорил о вас, что вы — хороший товарищ...

"Врет", подумал Борис.

— ...что вы одиноки в личной жизни. Вот я и подумала пригласить вас и еще нескольких наших друзей...

— Вы меня сватать будете, да?

— Паша! Что ты здесь прячешься, или иди к себе, или иди сюда. Так что вы говорите, сватать? Вас? Ах-ха-ха, Ах, какой вы смешной... А, впрочем, почему бы и нет? Разве вы против хорошей партии?

Борис молчал.

— Если б я знал, то с бутылкой пришел, — изрек он наконец.

— А еще не поздно.

— Нет, поздно. Уже на обед все закрыто.

Геня со вздохом взглянула на часы: но где Лиля? И тут позвонила Лиля.

— Она миллионерша. У нее дядя миллионер, и она единственная наследница. — С этими словами Геня пошла открывать дверь.

Лиля пришла с тортом и даже, пожалуй, с двумя, второй был на голове.

— Ах, какая прелесть! И ты сама его приготовила? Давай сразу в холодильник. — Геня сразу взяла Лилю в оборот. — Давай, давай, раздевайся... давай, давай, проходи... давай, давай... — вспомнив про торт — но ты же настоящая мастерица. Это же чудо... да, так давай, давай, познакомься. Это...

Борис хитро улыбался, но молчал. Лиля, протянувшая уже было руку, смутилась. Борина улыбочка, казалось, говорила: я же знаю, что ты знаешь, а ты знаешь, что я знаю, но так уж и быть, давай поиграем в прятки.

— Борис очень похож на Пашку моего, такой же застенчивый, — вышла из положения Геня.

Пашка, только услышав свое имя, как ядро влетел в комнату, стал прыгать вокруг матери и дурашливо кричать: — Гы! Пашка-кашка! Пашка-кашка! — он уже знал, что при посторонних это прозвище должно укорачивать на один слог.

— Ну, что ты, сыночка, ну, что ты, — ласково говорила Геня.

— Я вовсе не застенчивый, — сказал Борис Лиле, все еще протягивавшей ему руку. — Вот скажите мне быстро: ноги в тесте.

— Зачем? — спросила Лиля и покраснела.

— И-го-го, — ржал Пашка, и вдруг точно так же заржал и Борис.

"Вот бы их сейчас в Пашкину комнату, — подумала Геня, — да еще рано, еще кровь не разгорячилась".

Кварц, по своему обыкновению, припарковался к дому лихо. И тем более странно было, что, казалось бы, так спешивший домой, он не вышел из машины, а как замороженный продолжал сидеть в ней. Причиной тому был человек, шедший по направлению к Кварцу с подобием огромной черной восьмерки в руке. "Вайс", сказал про себя Шварц. Поравнявшись с машиной, Вайс сделал ручкой.

— Ах, здравствуйте, милый Кварц, — сказал он Кварцу, когда тот вылез — так вкрадчиво и так сладко, что не знай Кварц, с кем имеет дело, то тут же решил бы: педя. — Со стороны нашей милой Евгении Исаковны...

— Иосифовны, — поправил Кварц.

— Да-да, конечно, Иосифовны — было так... — Нолик запнулся, уже дважды он произнес это слово, но делать было нечего. Бог троицу... — ...так мило было пригласить меня к обеду, пообещав при этом роль Гименя... — он выговаривал "Именэя" и даже "Юменэя" как бы через немецкое "и", вообще в его речи преобладал так называемый "губной изюм". К примеру, "пидар" он говорил не иначе как через французское "ей": — Когда я лежал в больнице на предмет исследования, — говорил он Кварцу и Гене еще в первый день знакомства, — все врачи думали, что я реудаг и страшно удивлялись моему девственному сфинктеру... Да, так о чем мы? Ах да, это так заманчиво для меня, старика, исполнять роль юнца — и где? на пиру любви — что я просто не имел сил отказаться.

Сколько раз Кварц давал себе слово послать этого типа — Гене же он вообще грозился, что "врежет ему" — и вот опять все повторяется, он стоит, только ушами хлопает. Впрочем, пролепетал:

— Не соблаговееете ли принять помощь в отношении... в отнесении инструмента наверх.

— **Бери, что хочешь, меч, полцарства.**

Коня, красавицу Эльвиру,

Но лишь не тронь заветной лиры,

— ответил Нолик.

Пару слов "в отнесение" внешности Вайса, вернее того, что составляло ее главную особенность. Нолику было немногим больше сорока, на столько же он и выглядел, но со стороны это, скорей, казалось фальшивой молодостью маленького старичка, в котором все подозрительно — и цвет волос, и брови, и даже веснушки на маленьких сухих руках, наводившие на мысль о старческих пятнах. Выражение "маленький старичок" очень шло к нему еще и потому, что в отдельных случаях оно применимо так же к детям, а фигурой своей Нолик был совсем мальчишка, малость закостеневший, малость негнувшийся... Короче, если считать, что душа человека запечатлевается в его облике, то Нолик Вайс — лучшее тому подтверждение. Бедняга был тем, за кого себя выдавал, а ему

не было веры, и всякому хотелось — Кварцу — избаловать его.

— По-прежнему выписываете "Советский спорт"? — учтиво осведомился Нолик у Кварца, беря его под локоть свободной рукой.

— О да!.. — захлебываясь отвечал Кварц. — И еще "Хоккей" и... ну, футы... "Футбол".

Так, в непринужденных разговорах пара гнедых приближалась к дверям квартиры, дабы своим появлением в ней завершить сведение воедино всех героев этого рассказа.

Услышав шкварц поворачиваемого в замке ключа и увидя Нолика в дверях, Геня вскричала: — Какой сюрпрайз, пришел к нам Вайс! — и закружилась по комнате. Это была фраза, которую сам же Нолик ввел в употребление, долгое время повторяя ее. Мужу Геня сказала: — И Кавочка, и Кавочка миленький...

— Здравствуй, Геночка, — сказал Кварц хорошо подкованным язычком (см. "Волк и семеро козлят").

— Говорите, кто кого из вас привел? — спросила Геня, в порядке ухаживания за гостем пожелавшая принять от него его черную восьмерку. Но Нолик что-то сказал ей на ухо.

— Ах, какой вы... (он прошептал ей: "Бери, что хочешь, меч, полцарства, коня, красавицу Эльвиру...")

— Он шел к нам, а я шел, в смысле, ехал, то есть тогда уже стоял...

— Ваш муж, — перебил Кварца Нолик, — притаился в своем лимузине, он, наверное, хотел меня напугать.

— Кава... — протянула Геня.

Решив заговорить с Пашкой, Нолик присел на корточки — вступать в разговоры с детьми почиталось у него за верх изысканности.

— Ну, сладкая поросль сердца кормящей матери...

— Бесейдер, — сказал Пашка, подумавший, что у него спрашивают, как дела — ему ль знать все цитаты — и спрятался за мать.

Бесейдер — в порядке.

— Застенчивый, — сказала Геня. — А вот наша гостья, познакомьтесь.

— Илана, — представилась Лиля.

Нолик, как бы в сокрушении сердечном, приложил ладонь к щеке:

— Боже, сколько же Илан приехало в эту страну!..

— Это у нас Лилия, — вступилась за подругу Геня — тщетно.

— А как, милая Илана, вы называете себя, когда мысленно обращаетесь к себе?

— Я никак к себе не обращаюсь, — ответила Лилия. — А вы?

— О, это зависит... — Нолик выдвинул подбородок и, просунув за ворот рубашки два пальца, покрутил головой: душит белая. Его гардероб, если судить по неизменности его туалета, состоял из: светлого твинового пиджака в рубчик, гладких темных штанов, помянутой уже белой рубашки и галстука, синего в белую крошку, под микроскопом принявшую очертания ели. Сколько Геня помнит, Нолик никогда не расстегивал верхней пуговки и не оттягивал книзу узла, которым, вероятно, однажды и навсегда был завязан этот галстук в елях. Думающий, что после слов "о, это зависит..." Нолик сказал еще что-нибудь, ошибается. Слова "о, это зависит"... интонационно имели вид законченной мысли, ничего по себе не требующей, кроме точки.

— Да это же Вайс, Анатолик Вайс, поэт и исполнитель на гитаре, — объяснила Лиле Геня.

Между тем Кварц, смущенно сказав Борису "старик", подошел к окну и мутным расфокусированным взглядом уставился на стоянку возле дома. Обычно — потому как сейчас его взгляд был пуст, — когда ему случалось бывать не в своей тарелке, ничто так не успокаивало его, как вид, открывавшийся сверху на крышу автомобиля — собственного, разумеется. Сверху автомобиль выглядел комфортней, сигарообразней — он любил это слово и это сравнение, понимая, что происхождением своим оно безусловно же обязано не форме определяющего предмета — чем сосиска в таком случае хуже? — а той эманации современной роскоши, Голливуда, "Уолл-Стрита", которая от него исходит.

Борис тоже подошел к окну.

— Твое судно? — спросил он.

Шварц перемигнул и вновь увидел верх своего автомобиля.

— Угу.

Борис воздержался от дальнейших комментариев. Он относился к числу людей, чьи чувства и намерения двойной стеной отделены от их поступков. Промежуток между этими стенами, в данном случае, заполняли О и З, действовавшие по принципу отравляющих газов — Осторожность и Зловредность. Поэтому, что бы он ни говорил Лиле, это не отражало его истинных желаний. Истинным желанием его, например, было жениться на миллионерке — он же своим поведением только отпугнул миллионерку. Теперь бы ему броситься исправлять промах, наверстывать упущенное — он же поворачивается лицом к окну и позволяет какому-то дергунчику расточать ей, миллионерке, комплименты и любезности, на которые сам, впрочем, все равно был бы неспособен, просто физически, в силу своей зловредности.

— Пусть, пусть, — думал он, — пусть, пусть, пусть... — только одно слово, но емкое, вместившее миллион смыслов: пусть я шут, пусть циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи; пусть щебечет, это имеет смысл лишь в том случае, если особа сия в действительности является таковской, за каковскую выдает себя; пусть миловидна, пусть миллион за душой, еще неизвестно, какая нынче пойдет игра на бирсе; пусть миловидна, пусть причесана у лучшего дамского портного, красота — это еще не главное в жизни (заячьей губы он не разглядел).

— Чай оттуда еще? — произнес за его спиной голос Нолика. Речь была о ватном и глазированном деде-морозе, который стоял на одной из полок книжного шкафа, приспособленного под сервант. — Хорошо, изумительно, — говорил голос, — в сарачинской шапке белой, с бородою поседелой.

— Подумаешь, наелся сливок и блеванул.

Нолик даже поперхнулся от неожиданности, и Геня долго стучала ему между лопаток.

— Се человек, — сказал он наконец, блистая слезами на ресницах.

— Се Борис, — сказала Геня.

— "Бóрис" надо говорить.

— Почему? — с наигранным простодушием высшего спросил Нолик.

Борис смерил Нолика презрительным взглядом. Он был сам себе голова и терпеть не мог авторитетов. Нолик же, как он понял, слыл здесь авторитетом.

— "Бóря" — значит "Бóрис".

— О, — усмехнулся Нолик, поворачиваясь к Гене. — Да я вижу, здесь мир стоит, простой, но целый. — И к Борису, — но смотрите, первый же случайный автомобиль может разнести его в щепы, ходите осторожно. Я так и вижу: он из-за угла...

Геня тихонько ущипнула Нолика повыше локтя. Не понимая, что на три четверти его речи — лишь путеводитель по русской словесности, она увидела в этом намек на автомобиль, как на возможное приданое Лили.

— Пойдемте же, пойдемте на кухню. Мне надо Пашку кормить. Будьте сегодня моим пажом.

На кухне Нолик опять подъехал к Пашке с разговорами. На этот раз с большим успехом. Растягивая ложку на несколько глотков, пуская фонтаны бульона и слюней на стол и на рубашку, Пашка дал настоящую пресс-конференцию.

— Кем ты будешь, когда вырастешь большим?

— Совсем большим?

— Да.

— Вот таким большим? — Пашка развел руки в стороны, оставив ложку плавать в тарелке.

— Да. А может быть, даже еще больше.

— Тогда вот таким? — руки его раскинулись по вертикали, — как слон?

— Ну, предположим. Или как дом.

— Нет, я хочу быть, как слон. — Это насмешило его, и он

начал "гыкать" и смеяться, приговаривая: — Я буду, как слон! Слон больше чем дом!

— Слушай, парень, ешь и не дури, — сказала Геня, но Пашка долго не мог успокоиться, и Гене пришлось на него цыкнуть. Нолик же продолжал:

— Скажи, Павлик, а какая девочка у вас в классе самая красивая?

— Никакая, они все противные.

— А ты их бьешь?

- Да!

— А у тебя есть друг?

— Да, есть!

— А как его зовут?

— Арье.

— А он тоже бьет девочек?

- Да!

— А у вас есть в классе дети, у которых текут сопли?

— Но-о-лик, — сказала Геня.

— Есть, арба, — ответил Пашка.

— Ну, а как зовут вашу учительницу?

— Моника.

— А у нее на каждом пальчике по колечку?

— Нолик, умоляю, вы возвращаете мне ребенка.

Поскольку хозяин мухой прилип к стеклу, все гости постепенно сгруппировались вокруг Гени на кухне. Пиля хлопотала вместе с ней у плиты и даже была в фартуке. Нолик теоретизировал на уровне хорошей поваренной книги. Борис стоял, скрестив руки на груди, третью, воображаемую, он держал на эфесе шпаги.

Вняв совету Нолика, Геня решила разнообразить меню еще и "подливкой по-сефардски" — жареными помидорами с добавлением муки, лука, масла и всех имевшихся в Генином распоряжении специй. Нолик также получил фартук и нож в руки.

— Я превосходный шпажист, ни одна хозяйка не владеет

Арба — четыре.

орудиями колющими и режущими лучше меня. — Он со стуком отсекал от длинной зеленой стрелы крошечные цилиндрики и съедал белый корешок, всякий раз предварительно предлагая его девочкам. — Что делать, я лакомка, — говорил он в свое оправдание.

— Лакомка!.. — восклицала Геня, сгибаясь и шлепая себя обеими руками по коленям, словно вот-вот прыснет. Борис же бубнил, невнятно, монотонно, как первобытный воин: "А теперь полакоми свой глаз, а теперь полакоми свой глаз". — Только не заставляйте меня убедиться в том, что вы и в своей холостяцкой обители готовитесь к обеду с таким же т щ е н и е м .

— Упаси Бог, Генечка, чтоб я в а с заставлял. И потом с чтением я действительно редко готовлю, не люблю делать одновременно два таких важных дела. И вообще, знаете, мой девиз в таких случаях: Лукулл обедает у Лукулла... Боже мой, Илана, ужасная женщина, что вы хотели сделать?!

Лиля кончила нарезать помидоры и собиралась плюнуть их на сковородку. Теперь ее рука с тарелкой, накрепко как кузов самосвала, повисла в воздухе.

— Поставьте на место. Вы бы сейчас все испортили. Вы что, не знаете, что прежде их нужно промыть? Смотрите.

Нолик пустил струю воды и под ней пальцами стал перебирать каждую дольку, высмаркивая ее и делая полой. Глядя на соскальзывающие в раковину розовые в желтых зернышках сопли, Борис вдруг сказал:

— Так и рот с выбитыми зубами промывают.

У Нолика не нашлось слов ответить. Он только заглянул Борису в глаза, по-демонски улыбаясь — словно заглянул в его душу — и трепеща бровями. Геня начала жарить лук, и через минуту квартиру заволочло его медвяным духом.

Лиле — чей тип был "некокетливая", чей статус был "подруга, помогающая подруге", чья претензия в этом мире в лучшем случае исчерпывалась словами "...но у меня хорошая душа" — Лиле Борис в общем понравился. Симпатичный, по-современному одетый, он вполне мог быть человеком трудной судьбы, которому нужен просто хороший друг.

Печально, что Лилин тип своих симпатий обычно ничем не обнаруживает. Ни на кухне, повязанная фартуком, ни сидя за столом, она так ни разу и не повернула в его сторону свой негритянский носик. Геня уже старалась и так, и сяк, усадила их рядом, сама села на уголочке, сказав: — Ну, мне-то и на углу не опасно, не то, что некоторым. — Благодаря этому Вайс и Шварц оказались на противоположных концах, четвертой своей стороной стол, как пианино примыкал к стене.

Геня поначалу думала ограничиться двадцатым номером "Св. Земли", кисленьким арабским винцом, но, сообразив, что у гостей за отсутствием общих знакомых могут застопориться их костепромывочные механизмы, в последний момент "вспомнила" про бутылку водки в шкафу — не холодильном.

— Так вот, из-за провала в памяти могла захиреть беседа, — сказал Нолик и, многозначительно понизив голос, прибавил: — Похерив походя наши виды на счастливое застолье.

— Водка Петровка, белая головка, — читал Борис. — Импортируется из Ашкелона.

— Ну, мальчики, за что выпьем? Кава, ты хозяин, тост.

— За красивых дам, — сказал Кварц и... тихонько пукнул.

Но это всегда случается именно так, дорогой читатель: не к месту, неожиданно и некрасиво. И поверьте, мы бы этого тоже не заметили, если б при этом Кварц не сказал "ой, слиха", а Геня не сказала "скандал в Клэшмерле".

— Что до меня, то я пью за п р е к р а с н ы х дам, — сказал Нолик Лиле с уже отмечавшейся нами дрожью в бровях.

После первой, второй и третьей гости жадно трапезовали. Утолив первый голод и налив в четвертый раз — хотя и не выпив, — закурили. Лиле на всякий случай отказалась от предложенной ей сигареты. Нолик набил трубку.

— А почему бы вам не перейти на пайп? — великодушно обратился он к жалкому пари Шварцу.

— Что, что? Куда перейти? — не понял пария.

— Этот человек, Нолик, невежа, не обращайтесь к нему, — сказала Геня. — Мне стыдно, что у меня такой муж. — Она

Ой, слиха — ой, извините.

выдержала долгую паузу, прежде чем пояснила: — Вы воображаете. Нолик, чтобы человек не знал английского языка.

— Мне хватает иврита, — буркнул Кварц.

— Молчи, невежа. Я даже не могу сходить с ним в кино без того, чтобы на нас не шикали. Приходится объяснять ему каждое слово.

— Но ведь есть, кажется, специальный кинотеатр, — Нолик сказал это так, словно речь шла об инвалидной коляске или книге для слепых. — Ну, как его?

— "Исходус", — подсказала Лиля.

— Да-да, у него какое-то смешное название.

— "Эксодус" надо говорить, — поправил Борис, — и не будет тогда смешно. — Лиля покраснела.

— Ах, что вы, это ужасно, — сказала Геня. — Одна публика там чего стоит.

Лиля, не пропускавшая ни одного фильма с русским переводом, посетовала на отсутствие мест, где можно "приятно провести вечер" — она хотела еще сказать "нам, несемейным", но воздержалась. И тут Нолик привел в движение магнетические силы своего ума:

— Я слышал, что в Тель-Авиве открылся клуб людей трудной судьбы. Имени Максима Горького.

— Ваш острый язычок режет без ножа, — заметила — очень правильно — Геня. Борис же тоже правильно заметил: — На каждый острый язычок есть еще более острый ножичек.

Выпили по четвертой и закурили снова. В те головы, что были послабее, уже начал ударять хмель. Геня кокнула на кухне тарелку. "На счастье, на счастье", хором закричали гости, и только Шварц молчал: он был скупенький. Кончив убирать посуду, перемазанную майонезом, кохавчиками, пеплом, хацилим, Геня стала обносить первое блюдо — бульон, в котором плавал клинышек бабки. Это был прямой вызов Архимеду: при неравной площади макаронного сектора уровень бульона в каждой тарелке сохранялся неизменным. Нолик тут же в шутку предложил Гене поменяться тарелками, так как ему было "слишком много бульона". Для Кварца это послужило сигналом к реваншу.

— Ей, видите ли, из-за меня в кино неудобно... Да мне из-за тебя за столом с людьми сидеть неудобно — все сама съедает.

Зато Борис, напротив, стал развивать теорию, согласно которой хозяйке "больше всех за столом магия".

— Магия ла, магия ла, — твердил он заплетающимся языком. — Она больше других трудилась.

Геня быстро сменила тему разговора.

— Хватит вам над хозяйкой смеяться... Лиля, а что ты сегодня такая скучная, по работе что ли устала? Лилечка ведь у нас в банке трудится. Рассказала б лучше, как разбогатеть можно.

Лиля постучала перстами в грудь — условный знак пищеводу поторопиться — после чего сказала:

— Ну, есть разные тохниет. "Итрон матаим", например, хорошая. Значит, ложите на программу схум ад арбат алафим и уже через год можете выбрать восемь тысяч, и еще вам дадут алваа. Или можно купить ниярот эрэх — это тоже хорошо. А еще есть ле-зугот цаирим, это вроде как машканта...

— Ну, тебе-то машканта ни к чему, тебе твой дядя такой дворец отгрохал...

Однако Лиля была не из тех, кто строит свое счастье на лжи.

— Мистер Джона Полляк мне не дядя. Он мой покровитель.

— Неважно. Иногда чужой человек такое сделает, что куда там родному дяде. Квартира, — Геня начала загибать пальцы, — машина к свадьбе, а дети пойдут... Да ты что, мать, бездетный — он же тебе состояние все оставит, эх!..

Геня говорила убедительно. Нолик только покачал головой: — Так вот она какая...

— Так вот она какая, большая-пребольшая, — промурлыкал Борис.

Магия ла — ей полагается.

Тохниет, ниярот эрэх, алваа, схум, машканта и т.д. — банковские термины.

Ле-зугот цаирим — для молодоженов; уже знакомое нам слово "зуг" обретает здесь вожделенную множественность.

— Нет, кроме шуток, Иланочка, — сказал Нолик, — ежели бы я да был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей, — и он действительно продемонстрировал, что было бы, если б он отвечал всем этим требованиям.

Кварц засмеялся.

— Смех без причины, знаешь, признак чего? — строго сказала Геня, обеспокоенная как раз противоположным — слишком уж явной причиной этого смеха. Она, конечно, не могла знать, что рассмешило мужа, — муж вспомнил, как тремпистка сегодня говорила ему: "Эйзе шемот русим нехмадим"*.

— Ах, я бы положительно наложил на себя руки, — продолжал Нолик, словно испытывая Лилину кротость, — если б не был таким заклятым мисогамистом. Вы, Кварц, конечно, знаете, что это значит. Мисогамист, Иланочка... — Нолик стал позади Бориса и Лили, уснастив их плечи, два внешних плеча, эполетами своих пальцев, — это, Иланочка, такой мужчина, который слишком чтит свою возлюбленную, чтобы посредством законного брака низвести ее до положения няньки, прачки и кухарки. Ну, это, конечно, вариант для Иланочки. Тебе же, муж чести и совета — имелся в виду Борис, — тебе я скажу иное. Мисогамист — это тот, кто не хочет закабалить себя союзом с нянькой, прачкой и кухаркой. Никогда, никогда не женись, мой друг — вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока... м-м... пока ты не перестанешь любить. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением...

Правду сказать, Борис и вовсе на него не смотрел, а сидел бледен и прям, воззрившись на ничто — на стену по ту сторону стола. Он был жестоко пьян.

Известно, что хмелеют, как и пьют, — по-разному. Интересно, однако, было бы установить зависимость между первым и

* Какие симпатичные русские имена.

вторым. Нолик пил, точнее, опрокидывал, не иначе как отставив локоть под прямым углом, словно от ключицы рука была в гипсе. Результат, как говорится, налицо. Борис, прежде чем выпить, долго созерцал рюмку на свет, зажмурив один глаз, выпив же, производил такой звук горлом, словно палил дуплетом — кстати, он и ел так же: ковырялся, что-то выуживал потом изо рта и складывал на краю тарелки, что-то отделял в самой тарелке и складывал в ту же горку. После нескольких рюмок он побелел, насупился и осуждающе устался в стенку.

Кварц Шварц пил, и было это ему покамест, что слону дробина. Вероятно, его бычий организм укреплялся еще и мыслью о предстоящем randevu.

Девочки также и пили, и пьянели по-разному, хотя последнее у них происходило как-то по-своему, по-женски и в глаза не бросалось. Геня пила, как если б на подмостках много-тысячного театра вдыхала аромат огромной фальшивой розы. Лиля выпивала буднично: хозяйюшка, пьющая следом за хозяином.

— Но, Нолик, — дети! Как же без детей! — воскликнула Геня в ответ на "Ноликову тираду", даже не подозревая, с кем вступает в спор. — Дети же — это все для нас, без них нет смысла жить.

— Генечка, вы превратно меня поняли, я не против того, чтоб мужчины имели детей, я против того, чтоб они имели жен... — Геня сделала страшные глаза, до того страшные, что даже у Нолика душа ушла в пятки, во всяком случае, он укатил на попятный двор: — Разумеется... разумеется, это мнение одной стороны. Не вредно б было выслушать и другую. Вот что Иланочка думает?

Лиля тряхнула головой — это был первый ее решительный жест. — Я бы очень хотела иметь ребенка, воспитывать его. Вот Пашка, какой золотой ребенок, и не видно, и не слышно его.

Отвлечемся ненадолго. Пашка и в самом деле был золото. Заточенный в родительской спальне, он смиренно нес бремя своего обязательства. Как сказала бы Геня: такова се-ля-ви, за минутное наслаждение приходится дорого платить. К тому же Пашка упрямо пытался вопреки скудным своим возможностям продлить блаженство — что также в характере человека — продолжая есть конфеты, когда ему уже совершенно этого не хотелось. Он выстраивал их в боевом порядке, "Гумми-яин" и "Элит" были — соответственно — сирийцы и египтяне, цукаты в шоколаде побеждали их на обоих фронтах. Танки с ревом "уджж" пронеслись по родительской простыне, оставляя на ней следы от гусениц. То и дело один из них взмывал в воздух и начинал пикировать на врага. Увы. Победители несли самые большие потери...

После того, как все три армии были разбиты, Пашка сам начал издавать "уджж" и кататься по кровати. Раненный в живот, он все же терпел, боясь в противном случае "быть выброшенным на помойку к котам" (обычная Генина угроза). Так что Лиля была права лишь наполовину, говоря, что Пашки не видно и не слышно. Не слышно его было только потому, что в трапезной стоял шум.

— Если б я писал книгу для детей под названием "Честное зеркало", — сказал Нолик, — то в первом же пункте там стояло бы: "Детина, изыди".

— Да, - горячо поддержал Кварц, — у ребенка должен выработаться условный рефлекс: собрались взрослые — марш к себе. — Кто-то, а уж он-то хорошо знал, какая это досадная помеха — дети.

— Ого, оказывается, вы физиолог, Кварц.

Кварц, польщенный, смутился.

— Ну, а что... в самом деле... вот мой парень — воспитан же.

Стали расхваливать Пашку, всячески подчеркивая в этом Генину заслугу. Геня снисходительно кивала, она действи-

тельно себя мнила докой по части воспитания детей, в особенности полового, которому придавала первостепенное значение. На этот счет у нее имелось немало теорий. Так, считая необходимым приучать сына к виду обнаженного женского тела, она могла часами разгуливать перед ним голая.

Упала под стол задетая кем-то вилка, и одновременно, словно сработал некий механизм, в дверь постучали.

— Воткнитесь! — крикнул Шварц во всю мощь легких.

Вошла соседка с красно-синей жестянкой в руках. Ее лицо выражало то, что обычно выражают лица попавших в атмосферу чужого веселья: смесь брезгливости, превосходства и некоторой зависти. Лицемерно-кротко извинившись, она возвратила Гене ее "милиционера с ВДНХ" и, отклонив не менее лицемерное Генино приглашение к столу, удалилась — тем из читателей, у кого "милиционер с ВДНХ" не вызвал недоумения, наши комплименты.

Продолжались комплименты и по адресу Гени. "Мать года", "Макаренко в колготках", "Геня гений", одна Лиля высказалась не совсем остроумно: — Не та мать, что родила, а та, что воспитала.

Нолик нежно взял ее руку в свою: — Умница. — Затем, глядя ей руку, обратился к Борису с такой серенадой: — Как бык шестикрылый и грозный, мне снится соперник счастливый.

— Пение есть облагороженная рвота, — пробормотал Борис. Это были его последние слова. В ту же секунду он повалился на правый бок, сперва на колени к Лиле, которая от неожиданности вскрикнула, как тысяча пеших воинов, после чего уже они оба рухнули на пол.

— Ююууу!.. — просигналила двум падшим созданиям Геня. Ее поджатые губы и заведенные к потолку глаза говорили: этого еще не хватало. Кварц ограничился кратким "опа!" И только Нолик с ковбойской невозмутимостью бросил через плечо: — На вас, Иланочка, кажется, что-то упало?

Вызволить Лилю из-под бесчувственного Борисова тела оказалось делом не таким простым. Сколько раз Бориса

отваливали — плита, настоящая плита — столько раз он возвращался в прежнюю свою позицию.

— М-да, наш девиз — упругая пассивность, — сказал Нолик по этому поводу.

— Кава, — сказала Геня тихо, — его бы надо было уложить в Пашкиной комнате.

Кварц, не говоря ни слова, ухватил своего боевого друга подмышки и, верно, хорошо подмел им пол, прежде чем бросить на диванчик, которому, по первоначальному замыслу Гени, в этот день отводилась иная роль. Грубость Кварца легко извинялась тем обстоятельством, что из-за расслабленного гостя плащом накрывалось его рандеву. "Сейка" на его запястье показывала половину шестого, Геня уже включила свет в салоне. Кварц негрязно выругался — но ведь нам его не жалко, ей-Богу, не жалко. Нам жалко Лилию: она слегка ушиблась, сломала ноготь, поехал левый чулок — до сего дня ни разу ненадеванная пара. Да и потом прическа — чем она краше и мудреней, а уж Лилия постаралась, тем неприглядней бывают последствия случайностей, от которых застрахованы разве что бритоголовые лэди из Меа-Шеарим*. Короче, другая бы на Лилином месте уже давно расплакалась от досады и унижения, наша же мужественная девушка только тяжело вздохнула и пошла в ванную приводить себя в порядок. В ее отсутствие Геня, отвечая на нескромный Ноликов вопрос, вполголоса поведала печальную историю совращения Лили банковским клэрком.

"Ему было так стыдно, так противно,

Что начал он назавтра же ей мстить..."

заклЮчила Геня с поистине шекспировским психологизмом. Известные слова из "Отелло", которыми Нолик не преминул тут же откликнуться, были известны даже ей .

— Но ведь она хорошая и, главное, неглупая девочка, — самодовольно заметила Геня. — Умнее многих мужиков.

— В отличие от тех, кого вы называете мужиками, она не может себе позволить быть глупой.

Если бы Геня держала в руках сложенный веер, то она непременно шлепнула бы им Нолика. Но у нее в руках была

*Район еврейских религиозных ортодоксов в Иерусалиме.

лишь вилка, на которую она грациозно накальвала тончайшие мясные волокна и вермишелевых червячков, то там, то сям поналипших к доньшкам тарелок. "Все было выпито и съето" — мнимая цитата, — кроме десерта.

Между тем Нолик пустился в долгие рассуждения об уродливых женщинах и женщинах с физическим изъяном. Если исключить бесчисленные повторы и тупики, в которые то и дело попадала его мысль, муравьиным шагом двигавшаяся к своему апогею — муравьи бегают, как сумасшедшие, но большей частью без толку* — суть его речей сводилась к следующему: известная категория мужчин домогается расположения женщин больных и уродливых в надежде на их неизбежность и готовность уступать всякому, кто поманит их пальцем. Это грубая ошибка. Такие женщины, как правило, ожесточены, зажаты, из них вытравлена добрая половина здоровых женских инстинктов, и победа над ними — процесс куда более трудоемкий, нежели победа над смазливой бабенкой, для которой заигрывания мужчин "так же естественны, как ежедневный утренний душ" — Нолик имел все основания предполагать, что Геня держалась правил русской гигиены. Апогеем же Ноликовой мысли был горячий панегирик самому себе, воспламененный пылками филиппиками по адресу тех, кто под покровом темноты, стыдливо озираясь, пристаёт к хроменьким и обваренным (не смейтесь, не смейтесь в ус, ученый читатель, "панегирик, воспламеняющийся от филиппик" — мы нарочно устроили очную ставку этой паре иностранцев, на протяжении стольких лет безнаказанно морочивших нас своим появлением в совершенно противоположных контекстах, так может морочить нас человек, попеременно предстающий то в образе водителя "Эгеда", то в образе купчины из маколета, пока вдруг не выясняется, что "он" — это попросту двое близнецов).

— Я бы никогда не позволил козлу в себе восторжествовать над мужчиной. Я бы никогда не позволил отвлеченной

* Наблюдение автора.

"Эгед" — название автобусного кооператива.

Маколет — лавка.

чувственности в себе предварить чувство, пробуждаемое в нас живой конкретной женщиной. Я всегда был смел и отчаян и бросался на приступ таких илионов, несокрушимость которых была общеизвестна. Я же всегда бесстрашно карабкался по их стенам, и еще никогда не случалось, чтобы дерзость моя оставалась невознагражденной...

— "Я всегда, я никогда" — вы что, — абсолют? По-моему, вы уже заговариваетесь, — грубо оборвала Нолика Геня. Став ему интеллектуальной ровней — как-никак опознала цитату, — она вполне могла позволить себе такую роскошь. Тем более, что Нолик начал раздражать ее. Тем более, что голова ее вот уже несколько минут как была занята совсем другим: - Что он там нес (подразумевался Борис), что его сейчас вырвет?

— Глубокоуважаемая Евгения Батьковна, прежде всего я не заговариваюсссь, а заговариваю вассс, это, как говорят в Одессе — а я, да будет вам известно, рожден в Одессе, — две большие разницы. Что касается господина Бориса, вашего гостя, то ковров ваших он пятнать вроде бы не собирался. Господин Борис сказал только, что мое пение есть облагороженная рвота.

У Гени оборвалось сердце. Все. Нолик обижен. Нолик сейчас уйдет. Нолик больше никогда не придет. Кончилась дружба со знаменитым бардом Анатоликом Вайсом.

— Ах, какой дурной. Боже, какой дурной! Это ведь надо так сказать! Да сам он рвота... блевота... ха-ха-ха...а? Вы, конечно же, не обиделись на этот фрукт...

— На фрукт — нет.

— Ну, так в чем же дело, откуда эта мрачность? Вспомните, машер, о своей гитаре да спойте. — Душевно наморща нос и тряхнув волосами. — Спойте, машер! Вы и песня, как Ром и Ремул — неразлучная пара.

— А это еще что за звери такие?

— Ром и Ремул, Но-о-лик...

— Ром и Ремул, — проворчал Нолик, — Панин и Стелин.

— Нолик... Вы. Меня. Разыгрываете!

— Конечно же, разыгрываю. Ладно, так уж и быть, спою.

Здесь надо открыть один маленький секрет: Нолику гораздо больше хотелось петь, нежели Гене слушать. И так бывало всегда. Всегда в гостях Нолик с нетерпением искал случая уступить настойчивым просьбам своих почитательниц и что-нибудь для них исполнить.

— Ну, где же публика? Кого прикажете восхищать?

Геня пошла звать Лилю. Лиля, уже расчесанная, сидела в Пашкиной комнате. Можно предположить, что она считала своим долгом находиться там же, где Борис. Последний, в беспорядке сваленный Кварцем на диван — ноги, руки вперемешку, — был теперь аккуратно разложен. Голова его покоилась на плюшевом медвежонке, бледный шарик пупка, нескромно открывшийся, исчез под книжкой "Плэйбоя", заменявшей отсутствующий плэд.

— Ну, мать... Ну, что же ты здесь сидишь-то? Нолик сейчас петь будет.

С такими словами Пиля была уведена. Нолик разнял свою восьмерку на две, извлек оттуда третью — со сливочными деками и поджаристыми густо-коричневыми обечайками, а также извлек маленький раскладной стульчик, на который поставил левую ногу в доблестно начищенном черном полуботинке. Девочки сели рядышком и приготовились слушать. Нолик покосился на Кварца: тот вновь прилип к окну, рассредоточенно глядя на светящуюся сетку огоньков вдали, где-то там напрасно ожидало его родственное тело. Нолик дважды ударил по струнам, резко и нетерпеливо, но попытка эта — завербовать себе еще одного слушателя — успехом не увенчалась. Кварц даже не шелохнулся.

Впрочем, творческая манера Нолика была настолько четко отработана, что численность аудитории не могла сколь-нибудь существенно отразиться на качестве или приемах исполнения. Он, подобно картине, сработанной широкими мазками в расчете на десятки кубометров пространства, и в крошечном помещении оставался неизменен.

— Нет, я знаю, что я спою, но прежде я все же хотел бы узнать, каковы желания почтеннейшей публики?

— Пожалуйста, исполните нам "Круглый дом", — попросила Геня.

— Так, "Круглый дом"... Вам хочется "Круглый дом", слабейшую из моих слабостей. Но нет! Достаточно я уже тешил толпу, достаточно потакал своим слабостям и ее невежеству — пардон, мадам, я не о вас, да-да, вы, в третьем ряду. Теперь все кончено. Отныне поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением.

— Ляма? — капризно спросила Гена, до ушей растягивая рот, так сказать, б'сигнон "маленькая елда". Нолик не ответил, он был уже далеко. Пальцы его перебирали струны, и то, что он говорил, являлось мелодекламационным вступлением.

— На днях я до глубокой ночи с трубкой в зубах гальванизировал труп своей памяти. "Память, говори!" заклинал я ее. И вдруг ожил призрак. Зашевелилось, проснулось, закружило меня... Быть может, это была совесть? Возможно. Быть может, это боль всколыхнулась во мне? Вероятно. А может... это тоска об ушедшей юности сжала мне сердце? Да, наверное, так и было. Юность моя — свежесть моя... Она пришлась на пору, когда части Закарпатского военного... но нет! Я лучше спую о том, о чем не в силах сказать. — Нолик прочистил горло (Геня тоже ощутила желание счистить с голоса хрипотцу, но переборолла себя — чего доброго решит еще, что его передразнивают — и вдруг услышала, как Пиля делает "кхм-кхм"). — Итак, песня. "Медаль за взятие Будапешта. Видение далеких лет".

**Бредем в молчании суровом,
Венгр и поляк.
И кровью нашей, как рассолом,
Опохмелялся враг.**

**Гремят по Будапешту танки,
Пой, пуля, пой!
Пусть знают русские портянки:
На Висле я — свой.**

**Нам в Польше кровь сдавали братья,
Иген — так.**

Б'сигнон "маленькая елда"— в стиле "маленькая девочка".
Ляма — почему?

**Приятель был у меня Матьяш,
Парень чудак.**

**На Висле, Влтаве, на Дунае,
На Эльбе — о-ооо!
На Тиссе, Буге, Даугаве
Я — сво-ооой!**

**Бредем по Пешту, вдруг оттуда,
Сквозь ток вод.
Свою загадочную Буда
Улыбку шлет.**

**Нам звезды Эгера сияли,
Я видел сам.
А значит душу не распяли —
Но пасаран!**

Бредем в молчании суровом...

и т.д. — последний куплет Геня уже подтягивала вслед за Ноликом. Пользуясь безличной формой, как пользуются в фототелье картиной с отверстием на месте головы, Геня без труда отождествляла себя с одним из этой молчаливой группы, а еще лучше — из этой молчаливой пары: оба суровы, головы опущены, воротники подняты, бредут.

Были исполнены затем еще две песни: "А Кохане дер ров" ("А Кохане дер ров вороненый свой кольт на арабских наводит детей...") и "Круглый дом", специально для Гени.

— А не вдарить ли нам по кофею? — спросила Геня, беря сигарету, и добавила: — сигареты кончаются.

— Генечка, эта мысль, безусловно, была внушена вам свыше... только прошу...

— Проси, что хошь, коня, полцарства, жену — красавицу Пальмиру, но лишь не тронь заветной лиры...

— Генечка, у вас потрясающая память, но посягаю я, увы, именно на вашу лиру: не подавайте хотя бы к кофе свои макаронные финтифлюшки. Говорю так, потому что мы уже не сомневаемся в вашей способности делать из вермишели конфетки.

— Злой, фуя, бяка противный! — Геня принялась бить Нолика кулачками в грудь.

— Вы же мне грудную клетку проломите, что вы делаете! Кхе-кхе... — Нолик притворно закашлялся и вдруг закашлялся по-настоящему, да так сильно, что жилки налились в глазах и трубочкой высунулся кончик языка. Геня смутилась.

— А вот мистер Джона Полляк после обеда всегда ест голландский сын...

— Ну и дурак ваш мистер Джона... — Нолик все еще боролся с кашлем. — На сладкое едят сладкое...

Кое-какие рефлексы Лилина оговорка пробудила в оцепеневшем мозгу Кварца. Одновременно с продиравшимся сквозь собственный лай Ноликом он спросил: — А что малой делает?

— Поди и посмотри, — огрызнулась Геня. — Ну что, вам полегче?

— ...как сказал бы господин Борис, — имитировал окончание фразы Нолик, тем самым вкладывая свою грубость в чужие уста. — Да, Генечка, благодарствуйте. Только больше не ломайте мне ребер, пожалуйста, — Нолик жалобно улыбнулся.

— Не буду, убедили, — Геня посторонилась, пропуская Шварца. — А что, машер, вы-то сами сладкого, небось, и в рот не берете?

— Напротив, я совершенно согласен с господином Борисом, на сладкое надо есть сладкое (вот это техника).

— Нолик, нет...

— Как, вы не едите сладостей? И вы, Илана, тоже?

— Я ем.

— Ах, Нолик, вы не понимаете. Мы — другое дело. Это мужчина, настоящий мужчина, не должен есть сладкого. Пашке, например, я ни грамма сладкого не даю, он даже чай пьет без сахара.

Воротился Кварц.

— Ну что?

— Ничего, — пожал он плечами, — темно.

— Значит, спит. — Геня вернулась к прежней теме. Вновь подтвердив свое мнение о мужчинах-сластенах и даже подкрепив его чисто семасиологически*, дескать, дико звучит — не

* Язык не сломайте.

мудрено: говорила "мужик-сладкоежка" — она в довершение дала изумительный образчик того, что зовется женской логикой. — Нолик, — сказала она, — и Лиля тоже, у меня есть что-то такое (ма ше-у), чего вы ну никак не ждете — сюрпрайз.

"Сюрпрайз" едва покрывал дно небольшой корзиночки чешского хрустала — Лиля даже привстала, чтобы увидеть, что там внутри, — и вся аж порозовела от предвкушения.

— "Белочка"! Настоящая "Белочка"! Откуда она у тебя?

Ответим за Геню. "Белочку" прислали Кварцу авторы этого имени, вместе со многими разделявшие то мнение, что "недаром славятся" советские конфеты, русский табачок ("О, русский табачок", говорит пленный фриц), московское метро и грузинский чай — кстати, судя по лицам Лили и Нолика, подобное мнение экспортируется гораздо успешней, нежели предметы, о которых оно трактует. Таким образом, чай пили по способу домработниц, с шоколадными конфетами — в последний момент оказалось, что кофе кончился.

Если отсутствие кофе переносится большинством из наших земляков сравнительно легко, то о сигаретах этого сказать никак нельзя. Побаловавшимся чайком и скушавшим по 2,5 конфеты на брата — дробью мы обязаны Борису — нашим героям вдруг страшно захотелось затянуться, ан не тут-то было; то есть быть может и было, и даже тут, если поискать хорошенько, скажем у Шварца в правом кармане, но кто же на это пойдет, тем более, когда вместе с прочими г.г. обнищавшими курильщиками он пенял на отсутствие курува.

— Посмотри, может у тебя где-нибудь завалась заначка? — иносказательно взывала Геня к мужниной совести.

— Да нет же, откуда, — отвечал Кварц, предпочитавший сам не курить, только бы не растревлять себе душу ужасным зрелищем чужих пальцев, удрящих в его пачке.

— Ну, Кав... — ныла Геня, — а вдруг...

— Что я врать буду?

Лиля, "подруга, помогающая подруге", вызвалась спуститься в маколет, закрывавшийся через каких-нибудь четверть часа.

— Купи "Тайм", две пачки "Тайма", — сказала Геня. — Я тебе денег дам.

— У меня есть, не надо.

Генина настойчивость не была чрезмерной.

— Не надо — так не надо.

При этих словах жены Кварц довольно рассеянно стал озирать потолок.

Единственный, кто не нуждался в изделиях "Дубека", не считая временно усопшего Бориса, был Нолик. Но и он уже минут пять, как доставал из кармана, открывал, вновь прятал, затем вновь доставал, словом, проявлял какую-то нерешительность, явно аффектированную по отношению к своему кisetу. Делал он это, кстати, совершенно напрасно, поскольку кiset в глазах большинства мешчан от курения был вещь настолько специальной, что разложи он, элитарный курильщик, свою трубку со всеми ее атрибутами: кisetом, щеточками, тряпочками, лопаточками и проч. на полу да спляши он над ней шотландский риль — все бы подумали, что с трубками так и надо. Иначе говоря, без всякого предварительного шаманства он мог прямо сказать — что он и сделал, когда Лиля уже была в дверях — что так, мол, и так, Иланочка, у меня, кажется, кончился табак, так что я с вами — и кому бы из непосвященных пришло в голову заметить Нолику, что его "Шхуна смерти" (Ли и Фшиц, огранич. Лондон) в олимовской шхуне, в маколете никак продаваться не может.

Не успели они уйти, как Шварц, мысленно уже тысячу раз пославший их к чертовой матери (мы обещали не сквернословить), закурил. Отправляя своих гостей так далеко, он понимал всю несбыточность, а вследствие этого и всю метафоричность своего пожелания. Одного он не мог знать — что рассказ о нем, как и о прочих здесь, вступил в свой заключительный фазис, а на заключительном фазисе, то есть перед концом, всегда набирает силу все, что есть в нашей жизни таинственно. В конце всегда расцветает мистика.

Олимовская шхуна — квартал для новых репатриантов.

Но покамест еще все шло как ни в чем не бывало. Подмигнув Гене, Кварц щелкнул по донышку пачки — белого торца с двумя красными треугольничками вверху — по которой мурлыкало дорогостоящее название.

— Угощаю, — с нарочито украинским Г.

Геня, переносившая чашки в кухню и там складывавшая их в раковину, взяла сигарету прямо губами.

Кварц расшагивал по своей квартире, как расхаживал бы по энской воинской части в пятницу, часа так в два пополудни: ну, дяденька мефакед, может, все-таки отпустишь на шиши-шабат... Слабая надежда вырваться и поспеть к назначенному часу все еще согревала ему чресла. Шпагат стрéлок (7. 05, магазин уже закрыт) привел его в состояние, чрезвычайно затрудняющее всякое общение с ним, как знала Геня по собственному опыту. Он более не удерживал своих порывов; все, что испытывал он против гостей, против жениных затей, против того, что мешало ему спокойно совокупиться на стороне — все это, предельно сконцентрированное, должно было теперь рухнуть на Генину голову. Очевидно, огневое стало различимо в походке Шварца, который, войдя в кухню, застал Геню под надежным прикрытием дверцы холодильника.

— Нет... она еще жрет...

Но лисанька так отвечала серому волку:

— Ах, Кавчик, представляешь, Лилин торт позабыли поставить на стол. Вот я и думаю: за пять дней ему в холодильнике ничего не делается, а? И, глядишь, уже маме подарок на день рождения не надо покупать. Ты согласен?

— Мне без разницы, — пробурчал Кварц — все равно кисанька завтра же под благовидным предлогом сумеет полакомиться тортом.

Кварц вновь принялся расшагивать по энской воинской части. Вещи, бессловесные послухи его томления, его бесили, и то пинком, то другим каким-нибудь способом он срывал гнев на всем, что ни попадалось на его пути. Бег времени не приближал, а неотвратимо отдалял минуту верного свидания

Мефакед — командир.

Шиши-шабат — пятница-суббота.

— прости. Нолик... Когда стрелки стали на пуанты, с благоговения Гени Кварц учинил расследование — посильное и посему совершенно безрезультатное. Пока он спускался по темной лестнице — не далее как вчера ввинтили новые пробки — воображению его еще что-то там рисовалось: брели они, значит, в суровом молчании через улицу, и вдруг из-за угла автомобиль на четвертой скорости; или: ...и вдруг феддаины совершают очередной акт отчаяния — но уже возвратный путь был отмечен для него сугубым мраком.

— Мистика... — и, быть может, никогда в жизни истина не была так близка к нему (поправок не принимаем, у истины тоже есть ножки).

— Но я не понимаю, они никуда не могли... их вещи тут... да гитара тут! Определенно что-то случилось. Кварц, ну что ты молчишь...

Кварц молчал, он думал.

— Вот что, детка, — сказал он наконец. — Я не знаю, что они и как они, но этого — он удостоил Бориса не одним только местоимением — э т о г о я сейчас отвезу домой. Не спать же Пашке всю ночь с нами.

Бывали мгновения, когда Геня нуждалась в опоре, в дюже, принимающем решения — не важно какие — муже, к которому, как к Венериной стопе-волне, сладко было бы льнуть вконец растерявшейся душой. Сцепление и буксировка в этих случаях весьма традиционны: сразу же вслед за испугом выплывают расписные вечной женственности.

— Кава, тебе видней, — сказала Геня придурковато-серьезным тоном.

О, еще бы! Ему было отлично все видно. Сейчас немногим больше половины восьмого, и если выехать без промедлений, то можно еще успеть в Рамат-Ган.

— О'кэй, еду! — воскликнул он с той волевой отрывистостью, что всегда так импонировала Гене. — Какой у него адрес?

— Я не знаю, я ведь с ним не знакома даже, он ведь всецело твоя кандидатура. Вспомни, Кавочка, ты же к нему звонил...

— Черт! (или что-то в этом роде). У меня есть только рабочий телефон.

— А ты на нем поищи, знаешь, ну, как полиция устанавливает личность трупа — тудык-сюдык.

Мимическое интермеццо. Геня манипулирует с воображаемым телом, что тут же воспроизводится Кварцем, так сказать, в живом материале. Но энергичные действия по переворачиванию и выворачиванию дали совершенно ничтожные результаты. Единственной добычей, если не считать мелких денег и гребешка, был скомканный клочок туалетной бумаги, машинально развернув который Кварц издал ужасающе брезгливое "Бэ!"

— Что? Что там?

Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь теперь домой — попалась все же Борина "птичка", как ни берег он ее, в чужие руки.

Но что же случилось с Лилей и Ноликом, какая бездна поглотила их? История эта печальна, поучительна и, как уже намекалось, загадочна. Только закрылись за ними врата светлой обители Шварца, как они очутились в царстве перевернувших пробок. Ноги их двигались на ощупь и... руки тоже. Что? Не может быть? Честнейшая Лиля? Ну, ладно, допустим, мы увеличили число оборотов в минуту, проявили излишнюю поспешность. Следовало подготовить читателя к такому повороту парой-другой фраз, как это, возможно, сделал Нолик. Возможно, это даже произошло, когда они уже подымались вверх, отягощенные двумя пачками "Тайма". Очень вероятно, что Нолик поддерживал при этом свою кроткую даму, которая — в отличие от читателя — была не вполне тверезая. Не исключено также, что дама — здесь, как и читатель, — была несколько удивлена, но отпора не дала, а позволила событиям следовать своим чередом — между прочим, известен такой род целомудрия: ограничиваться, так сказать, состоянием непотворствования, следовать выражению "руки опускаются". Наконец, не была ли Лиля в глубине души готова к тому, что Нолик — не менее Кварца рыцарь своего тела — в комби-

нации он, она, темная лестница даст волю своему рыцарству.

А вот, что говорил при этом Нолик. Диаграмма паха.

— Я враг парфюмеров, но вашим духам я должен отдать справедливость (ниже то же самое он скажет и о ее белье: — Я враг белья, всякого, кроме постельного...), они создают вокруг вас ауру неприхотливой отзывчивости, на которую вправе рассчитывать иной истомившийся бедняк — о! я отлично понимаю вашу склонность к созданиям несовершенным, или точнее незавершенным. Эскизность привлекает нас не только в искусстве, но и в жизни. Она оставляет известный простор для нашей фантазии, дорогая, здесь ступенька, позволите — не благодарите, да, для фантазии, возносящейся ввысь по ступеням бесчисленных допущений, щедро ссужаемых нам сослагательным наклоном, не так ли, Иланочка? Давайте отдохнем, куда спешить, когда впереди вся жизнь. Да, так о несовершенных творениях Божьих, которые мы находим до того привлекательными, что самоотверженно готовы просиживать часами у их пьянящего одра, скажем так. Верно, дефект привлекателен. Он — случайная щель, пропускающая наружу свечение души, он — незапланированный зодчим выступ в стене, за который цепляется рука штурмующего какой-нибудь неприступный илион. Иные, не веря в небрежность зодчего, усматривают в ней даже провоцирующую любовь инъекцию, но это уже слишком, это рабанут нам не велит... Моя Ипатия еще удерживает нить? Впрочем, не трудитесь. Сожгите в своей чудесной доброй головке всю эту книжную белиберду, которой потчевал вас никому не нужный старый чудак. Взгляните на меня, взгляните на глупца (за риторикой Нолик позабыл, что Лиля не сова, а читатель — что сгустилась тьма). Старый пень вдруг вообразил себя способным завладеть вниманием березки, поверил, видите ли, в родство душ... Что тебе до моих многомудрых, а значит, как выводит одна антинаучно-популярная книга, бесконечно печальных раздумий? Год-два, и ты, которая так блестяще выклитировалась в земле Эдома и Содома за-

Выклитировалась — абсорбировалась.

ботами мистера Джоны, — ты пройдешь мимо умирающего нищего барда и не узнаешь его. Слушай, Илана, мало кто знает это. Я тяжело болен, у меня удален желчный пузырь — дай руку, вот... Любимая женщина променяла меня на тугую мошну. В тот самый момент, когда я в бреду выкрикивал ее имя с больничной койки, она развлекалась в Савьоне, об этом я узнал позже... Так имеет ли право сей удачливейший из мужей, в горестных кавычках, имею ли я право еще толковать тебе о том, что есть жизнь, что есть любовь?! О, прочь руки, жалкий наглец!.. Не смей касаться материй столь прекрасных... однако, Боже, какое у вас белье! Я враг всякого белья, кроме постельного и столового, но у этой нежнейшей ткани так мало общего с обычными женскими подругами... (со всхлипом) Лильян! Не откажите... я умоляю... только раз позвольте мне погладить общности... да-да, теперь мы владеем ими сообща... одинаково дорожим ими... ого! Наш девиз — упругая пассивность...

И тут совершилось невероятное — по крайней мере в суждении современной физиологии. Желая испытать не врет ли "наш девиз". Нолик тыльной стороной кисти, отяжелевшей, пружинисто-безвольной, надавил на Лилину грудь. Поначалу испытатель ощутил то же, как если б это был хорошо надутый воздушный шарик — вот-вот заскрипит — и блаженствовал, как дитя, пока вдруг в гневе не понял, что если кто и надут здесь, то это он сам. Пять лучеобразных косточек оказались уперты в костный забор Лилиной грудной клетки, все же прочее исчезло как мыльный пузырь.

— Как прикажете это понимать, сударыня?

Лиля не только не поняла, какие роковые перемены произошли с ее составом, но даже грозовые нотки в Ноликовом голосе уловила не сразу. Нолик тряс в воздухе тряпичной плотью, которую держал между средним и указательным пальцами, приговаривая:

— Вот это, вот это как прикажете понимать?

Лиля схватилась за грудь, и — этюд по системе Станиславского "Пропажа бумажника".

— Да тише вы, черт побери, не так правдоподобно...

— Что же вы со мной сделали... — прошептала она. — Что же вы... — но поскольку за вторым разом это должно было быть выкрикнуто (все по той же системе), Нолик быстро зажал ей рот.

— Вы что! Совсем с ума сошли? Сейчас все сюда сбегутся... Главное мне нравится: я с ней сделал. Вы что, не знаете, что женщина, у которой косметический протез, ни при каких обстоятельствах не должна забываться?

Лиля редко, но пронизывающе глубоко, словно подпрыгивая, дышала. В промежутках между елочками, как изобразил бы это пойкивание осциллограф, ей удавалось говорить.

— Протез? Какой... какой протез, никакого протеза... о чем вы гово... рите, у меня не было никакого протеза... (ик!) я нормальная девушка... здоровая, мистер Джона Полляк... — свидетельство на этот счет заокеанского джентльмена безусловно не могло вызвать никаких сомнений, вопрос лишь, в чем? Лиля во всяком случае дальше не продолжала.

— Но... такого не бывает, — сказал Нолик, чувствуя, как Лилина икота начинает передаваться и ему. — Не хотите же вы сказать, что ваша левая грудь, которую сейчас спустило... то есть, что до этого это была самая обыкновенная женская грудь?

Вместо ответа Лиля тихонько заплакала.

— И вы прежде ничем ее... м-м... не нагнетали — ни парафином, ни чем иным?

— Нет, — прошептала Лиля, совсем убитая.

— Ну, не плачьте, давайте разберемся, как это могло быть. — Нолик чиркнул спичкой. — Подержите. Вот так, хорошо.

Лиля держала спичку, прикрывая щитком ладошки дрожащее пламя. Когда спичка догорела, она зажгла следующую, затем еще одну... Нолик походил теперь на какую-то невероятную стряпуху, миллиметр за миллиметром исследовавшую лист отлично раскатанного теста, которое свешивалось с руки, как предметы в известном сюрреалистическом шедевре. Тщетно искал Нолик прореху, через которую джин мог выйти из бутылки.

— Посветите теперь с этой стороны, я хочу сравнить их.

— Только, пожалуйста, осторожно.

— Ну что вы, конечно.

Нолик осторожно извлек из правого чехольчика наполненный сосуд, осмотрел и так же осторожно вправил назад.

— Знаете, попытайтесь ее как-нибудь разнять, а я попробую вот что...

Лиля стала разлеплять склеенные внутренним вакуумом стенки. Нолик тем временем, припав ртом к маленькому мундштучку с краю, раздувался соловьем-разбойником.

— Проклятье... — проговорил он наконец, отдуваясь и вытирая губы. — Что же делать?

Наверху послышался шум и мелькнул свет.

— Не дышите...

Они распластались по стенке (ну, совсем как бедная Лилина...) Ладно, читатель, хватит тебя донимать. Все равно конец этого рассказа повисает в воздухе, и мы решительно не видим способа, как самим выйти из создавшегося положения и вывести своих героев. Кварц прошел мимо них дважды, вниз и вверх.

— Мисти... — дверь захлопнулась.

Мы перебрали несколько вариантов конца, включая и счастливый. Мы заготовили одну любопытную фразу и намерены ею леиштамеш (ь) направо и налево: "Число персонажей в рассказе настолько меньше числа возможных их прототипов, что если первых поделить на последних, то на долю каждого придется суший мизер — даже и не обидно никому".

Что касается упомянутого счастливого конца, то мы готовы предложить его, так сказать, в рабочем порядке, в виде экскурсии, что ли, в творческую лабораторию автора — но никак не более. Читаем: конец счастливый, Лилию увозят в больницу, где ей накачивают грудку. Там же заодно ей делают пластическую операцию. Борис так и не узнает, что у нее была заячья губа. Они женятся, и м-р Дж. П. присылает им миллион. Под влиянием пережитого Б. исправляется, становится милым и доверчивым. 30 тысяч (L! \$?) он дает Q.

Леиштамеш (ь) — пользоваться.

на открытие собственного дела. Нолика унесли черти (в Америку?). У Пашки тоже полный порядок, и соседский Арик может подавиться теперь своими конфетами — Пашка их видеть больше не может.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН
"ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
 В ДВУХ КНИГАХ

"ИЛЛЮЗИИ" и "КРУШЕНИЕ"

Автор — журналист и писатель, в прошлом корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты "Труд", заведующий отделом и специальный корреспондент "Литературной газеты" — рассказывает о своем жизненном пути в Советском Союзе, о преодолении им коммунистической идеологии, о нравах, царящих в советской журналистике и литературе.

Автобиографическое повествование "Покинутая Россия" удостоено второй премии Иерусалимского Университета.

Стоимость каждой из двух книг в Израиле: в магазине — 36 лир, при одновременной покупке первой и второй книги — 68 лир. При заказе в редакции, соответственно — 29 лир и 56 лир.

Стоимость каждой из двух книг за границей — 3 доллара.

Заказы принимаются по адресу: Улица Нахмани, 62, Тель-Авив, издательство "Время и мы". К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.

Вышла в свет на русском языке

Николаса Бетелла

**ПОСЛЕДНЯЯ
 ТАЙНА**

Документальный захватывающий рассказ о выдаче советским властям более двух миллионов русских, казаков, украинцев и других в 1944-47 года.

*"Вот прочитана книга,
 о событиях, которых не знал
 и узнал только через тридцать
 лет... через тридцать лет..." -*

из послесловия Виктора Некрасова

**Заказы направлять по адресу:
 STENVALLEY PRESS, 73 SUSSEX SQUARE,
 LONDON W2 2SS. Цена - 5 фунтов.**

ГОРЯЧИЙ СМЕХ ОБУГЛЕННОГО СЛОВА...

Много лет подряд, почти каждый вечер ко мне приходили молодые ленинградские поэты, заклеенные незримым клеймом Союза советских писателей: "Не наш". Они приходили не понятые, лишённые доверия, окруженные всеобщей враждебностью. Слово сочувствия и одобрения им было нужно, как глоток воды умирающему от жажды.

Шли годы. Мальчики становились юношами, юноши — зрелыми мужами. Накапливались стихи, циклы стихов, поэмы, неизданные книжки стихов. Робкие ученики становились уверенными мастерами. Но в их жизни все оставалось, как прежде: непризнанность, нужда, оскорбительная снисходительность литературных посредственностей и бездарностей. Роковое клеймо "не наш" преграждало им путь к читателям — никаких книжек! Никаких публикаций в журналах! Никаких выступлений на литературных вечерах!

Поэтому и приходили ко мне. Для некоторых я долгие годы был чуть ли не единственным читателем.

Я с ними расстался меньше года назад. Еще в моих ушах не смолкли патетический бас Олега Охупкина, магическое бормотание Виктора Кривулина, как бы высеченные из гранита мудрые строки Дмитрия Бобышева и грустный вечерний шелест листья Царскосельского парка, который приносил с собой Борис Куприянов.

Я люблю созвездие ленинградских поэтов. Я люблю их абсолютную непроданность, их фанатически преданное служение единственному божеству — Искусству. Люблю их поэтику, в которой слились тради-

ции таких разных поэтов, как Пушкин, Блок, Ахматова, Хлебников, Мандельштам, Вагинов, Заболоцкий, Введенский.

Мне думается, что ленинградское содружество поэтов сейчас наиболее уверенно держит факел новой русской свободной поэзии.

Почему ленинградцы? Может быть, потому что не Ленинград стал столицей русской политики. Или потому, что на ленинградских спектаклях и набережных суетливые голоса Ленина, Кирова и Жданова не смогли заглушить спокойных голосов Пушкина, Блока, Ахматовой. А может быть, потому что именно в Ленинграде Анна Ахматова передала свою лиру из рук в руки Иосифу Бродскому, Дмитрию Бобышеву и всему молодому поэтическому поколению.

Борис Куприянов один из младших в созвездии ленинградских поэтов. Старшие относятся к нему с трогательной заботой. Он вырос в Царском Селе. В городе Пушкина. Жившая там после многих лет политической ссылки замечательная переводчица Татьяна Григорьевна Гнедич (переведшая в сталинских лагерях "Доя Жуана" Байрона) обратила внимание на болезненного школьника, пишущего стихи, и бережно выращивала нежный росток его поэзии.

Голос Бориса Куприянова напоминает Царскосельские парки после войны — один из них был искорежен боями, другой — заброшен. Сочетание бессмертной красоты и бессмертного ужаса. Это же сочетание — красоты и ужаса — и в стихах Куприянова. Они будто набормотаны во время долгих вечерних или ночных метаний по отдаленным аллеям этих старинных парков.

Последний раз я видел поэта около года назад. В Ленинградском Доме писателей проводился вечер молодых поэтов. Один за другим выступали печатающиеся поэты, выращенные Союзом советских писателей и Обкомом комсомола. Слушатели вяло аплодировали, одним чуть больше, другим — чуть меньше. Потом вышел на эстраду Борис Куприянов — хрупкий красивый юноша с большими печальными глазами. Это было его первое выступление перед большой аудиторией. И стоило ему прочитать только одно стихотворение — такое странное, такое горькое, как бы сотканное из неясных ночных шорохов, шелестов, шепотов, как весь зал — около двухсот студентов, школьников, молодых рабочих — сразу же отличил его от других выступавших поэтов. Нет, не так — сразу же отличил подлинную поэзию от подделок под нее.

Поэта не отпускали. Заставляли читать еще и еще. До поздней ночи. А я глядел на него и на его восторженных и благодарных слушателей и был счастлив.

Давид ДАР

ПРИГОВОР

В дебрях смерти утомленной,
в долгих ангела руках
ты признался. Ты влюбленный
человек. Любовь в веках.

Или скаредного неба
для признаний таковых,
слишком ветренная Геба
жизнь форсирует, как стих.

А я да не яблоко вкушаю,
а над подсвечником дрожу.
Я тебе не разрешаю
и себе не разрешу.

Из копытца в царстве парных
горькой водки не искал,
а искал чудес словарных
и взалкал.

Горе роще маловерной,
не сумевшей птиц ласкать.
Слава мышце подреберной
все прощающей опять.

СТАНСЫ

Что же, санки давно отдыхают. Мальцы обманулись.
Ветер вылетел вспять, замораживать прошлое слово.
Навсегда наши тени в зеленых колодцах надулись.
О, никто не читает сравнительно новых.

Я руками кричать научился на улицах старых.
Зарекаюсь судить. Потрошу привезенное тело.
Благодетель духовный отправил, остался замазан.
Гонит стадо усопших, распухших, дебелих.

За кудыкину горку загнав распаленное братство,
господин позабыл назначенье лихого похода.
Помешался, отправил. Ему не напомнит убранство,
ничего не напомнит! Пусть смотрит на воду.

Я не выйду из дома. Мое привезенное тело
перетерпит родня, передернется смертной истомой.
Господин, разве сердце твое не болело
в первый день объявленья: "Родился не дома".

Как давно это было. За голосом слов не узнаешь,
напечатанных столбиком в темном альбоме.
Трудно, поздно. К полуночи все вспоминаешь.
Остаешься один в перевернутом доме.

ПОРТРЕТ

А.Генадиеву

Вдохновенные крючья сжигаемый воздух сожрет.
Кисло-сладкое чудо просохнет. Художник вернется.
Что останется? — Серое скопище нот.
Сквозь листву золотую над всем черно-белым смеется.

Где ты саблю свою обронил, молодой человек.
До чего же земля для твоей перспективы поката.
Копьецо голубое, серебряный взгляд из-под век!
Все святое попрятано в страшную сумку солдата.

Я хочу обнадежить, сослаться на зоркость и злость,
поступиться предельными знаками друга и брата.
Я хочу, чтобы младость окутала гневную кость,
чтобы вымерли тени в углу твоего медсанбата.

Но гравюра наколота, зверь в удаленьи дрожит.
Моментальная дама хохочет, и плачет стрекозка,
Почему я не чайник, не вечно обманчивый жид,
почему я не та из листвы световая полоска!

Престарелые тайны листаешь, пластинки листок...
На подкрашенном темени красная птичка уселась,
Скоро выгорит запад. У нас догорает восток.
Никуда не годится моя живописная смелость.

Мертвецы захоронят своих мертвецов без стыда.
Уголовная жизнь полностью окажется медной.
Посмотри, как стремится, как плачет морская вода!
Отплываем и мы этой светлой водою бесследной.

* * *

Элегических числ от листа потревоженных мягко,
незадувший свечи освещает пространство — вестимо.
Каждый звук, как ракушка — проевшая камень пиявка,
силы родственной крови пресыщенной, но не делимой.

Песнь, сама по себе, развивайся и знайся с подобной.
Не смотри на часы, человек обеспеченный чудом.
Сколько выпретенных знаков на улице нашей загробной,
не познавших пределов своей амплитуды.

Здравствуй лирик, ньютоновой крепи не знающий, здравствуй
Здравствуй трагик, познавший ньютоновы крепи!
Отлетаю. Листок стихотворный не властвуй.
Глупо только в пустыне, но наши умнейшие степи
научили летать не одни только тучи железа.
Этим тучам под стать наши души словесного среза.

Так о чем же я начал? О гласных, согласных и прочих
соглядатаях сердца, ракушках, камнях и цветочных
испарениях муки, вражды и любви!
Здравствуй ветер, степных и счастливых низовий.

ВЕТРЕННЫЕ СТИХИ О ПТИЧЬИХ ТАИНСТВАХ

Блоковский ветер вернулся из дальних скитаний.
Здравствуй эолова музыка, наша листва
не встрепенется, чтобы дать вам живое названье.
Впрочем, простите, я все начинал с баловства.

Сосредоточьтесь тяжелый поэт за пригорком.
Вам не понять, как становится тень "на часы".
Сколько темнеющих пророков по нашим задворкам.
Души бросают свои на чужие веса.

Я не люблю постоянства пристыженной бездны.
Вот колоколец у друга в дверях — позвоню.
Выпью глоточек свободы его безвозмездной
и романтической песней окно отворю.

Ветер, найди наши честные, чистые струны,
заговори языком побелевших ночей.
Я не забуду безмолвной прогулки, безлунной,
часто дрожащих девичьих, девчачьих плечей.

Но не любовью сведенной к двуличному чуду,
а абсолютною музыкой движим в саду
птенчик, которому вся полюбовная груда
тянется так, словно что-то имеет в виду.

Виды не ваши. Пейзажная жажда без цели.
Только имеющий уши познает пейзаж.
Ветры, авгуровы птицы, эоловы щели —
с первого взгляда ничем неприметный коллаж.

Здравствуй, авгур, — подстрекатель особенных струнок,
ветренных птиц созерцатель, эоловый сын,
птичьих яичек хранитель, строитель скворшневых лунок,
братец поэтов, сегодняшний мой господин.

Что ж, освещайтесь, но в памяти не расходитесь.
Римским жрецам голоногим гадателям птиц
русский птенец, от поэзии видимо витязь,
выскажет слово, глядясь в петропавловский шпиц.

О высоко! О как холодно. Как неизбывно.
Ангел простертый поблизости где-то висит.
Кружит душа. И какой-то мотивчик надрывный
вечную душу его клеветой леденит.

Вера при всей бесконечности исповедален —
есть подсердечная роща для ветреных птиц.
Не притворяйтесь, смутитесь: и вы над Невой пролетали,
не узнавая уступчивых, ангельских лиц.

Птица и ангел — два знака сбывавшейся веры
и воплощение всемирно-известной души.
Сбудется все. И авгура сошлют на галеры
только за то, что он слушать умеет в глуши.

УПРАЖНЕНИЯ В СМЕХЕ

Украденного сердца ли земля?
Приходят семь и говорят: мы с вами,
мы для того и созданы, что сами
решим куда, зачем, почто и для...

Для Князя Тьмы заброшенная жажда
и милосердье без великих дел —
вторичность, пропитавшаяся дважды
целебной грязью бешеных плевел.

Зерно уносит жаждущая птица.
Для Князя Тьмы есть пустошь и весло,
которое летит, поет и снится
всем тем, кому ни разу не везло.

Ты населял и пустоту, и камень,
и свет переживался пустотой,
поэтому ты смотришь под ногами:
семь беглых бесов говорят с тобой.

Проиграна татарская ухмылка.
Белеет скатерть на ночном балу.
А на картине голубая вилка,
как женщина зовущая в пылу.

Все соткано из полупустозвонства.
И все гордится сотканностью всех.
И если нам не полюбить пространство,
то только потому, что душит смех.

Горячий смех обугленного слова
над выщербленной памятью лица
нас озаряет и смиряет снова
во имя Духа, Сына и Отца.

Иван СТЕПАНОВ

МАЙДАНЕК ИЛИ МАГАДАН...

БЕДА

А в каком это было году,
Я судить не берусь.
Колдуны предсказали беду
И беда навалилась на Русь.
Да такая беда,
Что хоть вой.
Что хоть криком кричи,
Пострашнее пожара.
Чумы, татарвы, саранчи.
И не то, чтобы гром,
И не то, чтобы божья гроза, —
Только люди друг другу
Глядеть разучились в глаза.
Только, словно по знаку,
Они позабыли, что есть
Доброта, состраданье,
Бесстрашие, совесть и честь.
А поля колосились,
Вились над домами дымы.

А в домах веселились,
Любили, страдали, как мы.
Умирили, рождались,
Пеклись о сегодняшнем дне.
Но лежала неправда
В душе, словно камень на дне.
Вот какая беда
Навалилась когда-то на Русь.
А когда это было,
Об этом судить не берусь.

* * *

Когда я слышу, что такой-то лидер
Своим идеям предан фанатично,
И говорят об этом с восхищеньем,
Мне это крайне все не симпатично.
Я не люблю фанатиков. От них
За три версты разит костром и кровью.
Они смердят убийством. Их идеям —
Возвышенным иль явно каннибальским —
Равно питаться трупами. И, право,
Не так уж важно для меня название
Тех мест, откуда мало кто вернулся:
Майданек это или Магадан.

* * *

Человек нагнулся, поднял камень,
Размахнулся — и не промахнулся:
Заскулила сучка, завизжала
И от человека побежала
Не на четырех, — на трех ногах.
Человек же, —
Он стоял не твердо,
Ибо ног имел всего лишь пару
(А, возможно, подругой причине),
Человек победоносно глянул,
Удовлетворенно матюгнулся
И побрел — венец творенья — дальше.

* * *

Ох, и забавна пишущая братия!
 Один умен. Другой отпетый олух.
 Тот подзаборник. Этот хрестоматия —
 Его при жизни изучают в школах.

Иной острит. Иной ведет собрания.
 Иной строку под праздники сандалит.
 Иной готовит полное собрание.
 Иной для славы скромненько скандалит.

Лишь кое-кто, часов не зная праздных,
 Потомкам в поученье и на диво,
 Решил о наших днях своеобразных
 Поведать честно и неторопливо.

ДИНАСТИЧЕСКИЕ ДЕТИ

Был старый Новый год. Его встречали
 За столиками трухляки и снобы.
 Их жены с обнаженными плечами
 Являли прелесть перезрелой сдобы.
 А в голубых волнах свечного чада,
 Среди острот, окурков и объедков,
 В недоуменье повергая предков,
 Плясало династическое чадо.
 Глаза сверкали. Полыхал румянец.
 И, словно сам он из другого теста,
 Свой запрещенный, свой вихлястый танец
 Швырял в них мальчик с яростью протеста.
 Он презирал отца. Клеймил карьеру.
 Он звал приспособленчество к барьеру.
 И, если говорить высоким слогом,
 Он сам себе казался полубогом.

В одно лицо сквозь все глядел он лица.
 Его протест отцу предназначался.
 Он был уверен, что отец боится.
 Но был умен отец — и не боялся.
 Он тертый был калач, и, прямо скажем,
 Смутить его не так-то было просто.
 Он любовался этим эпатажем
 И говорил, смеясь: — Из-из-издержки роста...

* * *

Вас учат, династические дети,
 В английских и французских средних школах.
 Вас лечат от простуды и ангины
 Мудреными лекарствами кремлевки.
 Вас возят с малых лет на черных "Чайках"
 Со шторами на стеклах. Вы привыкли
 К другим белкам, жирам и углеводам,
 Чем наши дети. Проходные баллы
 Для вас не обязательны. В любые
 Пойдете вы учиться заведенья,
 Но будут предпочтительнее те,
 Где вы детей крестьян или рабочих
 (Не говоря уже о разных прочих)
 Не часто встретите. Откуда вам дорога —
 В МИД, АПН, Внешторг — и за границу:
 Растленный Запад — вас он не страшит.
 А ежели имеется наклонность
 К искусству, — поступайте в режиссеры,
 В писатели, в актеры, — все доступно,
 Все ваше, династические дети...
 Бывает, правда, что иным из вас
 Не по себе вдруг станет. Шевельнется
 Доселе неизведенное чувство,
 Которому названья не найти.
 Вас что-то мучит. Вы тогда дерзите

Заботливым родителям. Вы пьете.
 Вы говорите горькие слова.
 Но пьянство пьянством и слова словами,
 А все-таки отказывались легче
 Дворяне от дворянских привилегий,
 Чем вы — от ваших, великосоветских...
 То чувство, что иных из вас тревожит,
 В минувшем веке совестью звалось.

* * *

Был старый Новый год. И как в начале
 Я вам докладывал, его встречали
 За столиками трухляки и снобы.
 И сын одной влиятельной особы
 Шокировал их пляской протеста.
 Но под конец устал — и сел на место.
 Печально угасала окрыленность,
 И сквозь нее, как на тарелке сало,
 Уже номенклатурная холеность
 Постыдную заразой проступала.

ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ, КРИТИКА

"Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге... Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше..."

Ф.М. Достоевский, "Преступление и наказание" (бред Раскольникова).

Дора ШТУРМАН



"ЭТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК..."

Детали психологического портрета

— Есть у вас второе или третье издание сочинений Ленина? Яркое-красное, с профилем на обложке?

— Второго нет, из третьего отдельные тома. А какая разница? Ведь пятое — самое полное, там все есть.

— Как сказать. В третьем есть то, чего нет в пятом. Оно ведь запрещено. Не выдается в библиотеках, не продается в букинистических магазинах...

В ответ возмущенный возглас пожилого гражданина, стоявшего рядом:

— Негодяи, боятся Ленина! Исказили, отреклись, а теперь и сочинения начали запрещать! Не радуйтесь: они дойдут и до пятого... Я всегда говорил, что Ленин был единственным настоящим коммунистом в России!..

Ленин, действительно, был настоящим коммунистом (почти таким же настоящим, как Сталин), но дело не в этом: "они" уже, кажется, затеяли его шестое издание. Запрещая же второе и третье, "они" не столько за себя боятся, сколько за него: чтобы не предстал он в чьих-то дотошных глазах слишком живым, неприглаженным, истинным. За эту подлин-

ность, да еще за примечания к третьему изданию много грехов простится его редактору Бухарину, "любимцу" и "лучшему теоретику партии"...

О человеке написаны горы книг, советских и антисоветских, сыграны километры кинолент, поставлено множество спектаклей, есть даже оперы.

Человек запечатлен в миллионах портретов и на сотнях полотен, увековечен в камне, в бронзе и в дереве.

Но многие ли знакомы с тем, что рассказал о себе он сам? У советских людей (в том числе и у бывших советских людей) выработалось к литературе этого рода не отвращение, нет (для отвращения это чувство слишком пассивно и холодно), а какая-то рефлекторная идиосинкразия — физиологическое неприятие. Они ее и слушая не слышат, и читая не видят. Так опостытели эти красные тома в школе, в вузе, на бесконечных семинарах — кто ж их откроет по собственной воле? А западному читателю какое дело до этих печатных монбланов?

Первоисточники эти скомпрометированы, конечно, и тем, что они навязываются читателю властями. Но окажись многие из этих страниц перепечатанными на машинке и пущенными в Самиздат (хотя бы под заголовком "Неопубликованный Ленин"), — какая была бы сенсация!

Мы не берем на себя утопической задачи охарактеризовать Ленина в коротком очерке. И все-таки мы попробуем снова почитать Ленина по собственной воле, напечатанного отчетливым типографским шрифтом. Начнем с широко известного документа, который был, да и по сей день остается своего рода теоретической основой советского права.

ПИСЬМО Д.И. КУРСКОМУ*

17.V.1922.

Тов. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса. Набросок черновой, который, конечно, нуждается во всяческой отделке и переделке. Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черныка: ** открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

* Д.И. Курский — нарком юстиции. Мы приводим лишь отрывок из письма к нему Ленина (т. 33, изд. IV).

** Лексика Ленина.

Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом

Ленин

А вот еще две телеграммы, цитировать которые в работах о Ленине не принято:

ТЕЛЕГРАММА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ*

26.V.1919 г.

...Декретируйте и проведите в жизнь полное обезоружение населения, расстреливайте на месте беспощадно за всякую сокрытую винтовку. Весь гвоздь момента: быстрая победа в Донбассе, сбор винтовок из деревень, создание прочной армии. Сосредоточьте все силы на этой задаче, не ослабляйте энергии, мобилируйте рабочих поголовно. Прочтите эту телеграмму всем видным большевикам.

Ленин

В НИЖЕГОРОДСКИЙ СОВДЕП**

9.VIII.1918 г.

В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. Надо напрямь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.

Ни минуты промедления. Надо действовать во-всю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных.

Ваш Ленин

Был ли человек, сочинивший все это и массу подобного, лично жесток? Мы бы не решились однозначно ответить на этот вопрос. За годы работы над его печатным наследием у нас создалось впечатление, что Ленин — этот гигантский исторический Раскольников — заранее и раз навсегда разрешил себе переступить через кровь, которой потребует его цель. Но, в отличие от Раскольникова романического, он, судя по его сочинениям, не терзал себя самоанализом, не изводил себя сомнениями в том, имеет ли он право переступить. Раскольников долгое время казнит себя за свою

* В.И. Ленин, т. 35, изд. IV.

** Там же.

неспособность убить без морального содрогания. Во всем, что написано Лениным, не ощущается даже тени этого содрогания. Но он ведь и не убил никого своими руками!..

Он только теории сочинял, произносил речи, бумаги писал и подписывал, в газетах печатался... Не испытывал же Раскольников моральных терзаний, когда напечатал свою статью, где постулировал право "переступить"? Вполне вероятно, что он и приказы подписывал бы спокойно, так и не ощутив ни разу, что такое убийство. По-видимому, и Ленин не ощутил ни единожды миллионов смертей под своим пером. Создается устойчивое впечатление, что Ленин воспринимает "человеческий материал", которым он оперирует, именно так, как хотел бы, но не сумел его воспринять Раскольников: как некую усредненную и схематизированную до полной бесплотности статистическую абстракцию. Невозможно сказать, стоило ли ему это душевных усилий. Во всяком случае, во всем его огромном наследии эти усилия не отразились. С какой поразительной легкостью повторяет он, например, в своих телеграммах приказы изъять весь хлеб у сопротивляющихся продотрядам крестьян.

ТЕЛЕГРАММА ЛИВЕНСКОМУ ИСПОЛКОМУ*

20.VIII.1918 г.

Ливны
Исполкому

Копия военкому Семашке и организации коммунистов

Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо пока горячо и не упуская ни минуты организовать бедноту в уезде, конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков, мобилизовать и вооружить бедноту при надежных вождях из нашего отряда, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба...

Предсовнаркома Ленин

*В.И.Ленин, т. 35, изд. IV.

Видел ли Ленин голодную смерть детей за этим своим — "весь хлеб"?..

В десятках статей, речей, телеграмм 1918-1920 годов он открыто и пламенно ориентирует наркомпродовцев на самое беспощадное проведение продразверстки. При этом в категорию кулаков откровенно зачисляется каждый крестьянин, сопротивляющийся изъятию хлеба.

На X съезде РКП (б) отчетливо будут представлены все перипетии возглавленного и вдохновленного Лениным продовольственного террора. Но тогда Ленин не сочтет полезным для партии спасти продовольственников и активистов ни от самосуда крестьян, ни от трибунала. Напрасно Цюрупа, глава Наркомпрода, будет кричать с трибуны: "Как же можно было отнять хлеб у голодных (выделено нами), не применяя насилия?" И будет требовать, чтобы в губернии и уезды не рассылался циркуляр ЦК о привлечении наркомпродовцев к уголовной ответственности за применение насилия. Но циркуляр разошлут, потому что Ленину необходимо отвести от себя, от партии крестьянское возмущение и переадресовать его наркомпродовцам: мавр сделал свое дело — мавр может уйти. И Цюрупа с его коллегами по Наркомпроду напрасно будут рассказывать съезду о самосудах, о самоубийствах наркомпродовцев — как раньше другие напрасно рассказывали и писали Ленину о порках крестьян за несдачу хлеба, о расстрелах и о других преступлениях реквизиторов*

Человек сочиняет нечто, разрешающее убийство. Палач по приказу опускает топор. Первый не убивал. Второй убил по чужому приказу. Достоевский заставил человека, придумавшего разрешение убивать, убить своими руками. Он убрал все перегородки и сократил до предела расстояние между вдохновителем убийства и палачом, сняв разницу между ними. Чем это кончилось, нам известно. Изобретателю идеи и палачу некуда стало бежать от ответственности, которая в массе случаев ослаблена (субъективно снята) разделением их ролей.

Исчезло: "я никого не убил", отпало "я убил по чужому приказу". Поэтому Молох (идея) удовлетворился двумя

*"Стенограмма X съезда РКП (б)", Москва, 1963.

жертвами, а затем убивший ужаснулся себе и был спасен, хотя и не прощен: простить себе такое нельзя, иначе снова погиб...

Ленин не любил Достоевского, объединившего сочинителя идеи и убийцу в одной судьбе, чтобы человек ужаснулся содеянному.

Впрочем, ведь о своих критериях нравственности Ленин высказывался недвусмысленно и неоднократно:

"...Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов.

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата".

"Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата.

А в чем состоит эта классовая борьба? Это — царя свергнуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов".

"...Когда нам говорят о нравственности, мы говорим: для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем*."

Какова же реальная житейская и политическая наполненность этих определений, адресованных Лениным молодым строителям коммунизма?

Один из примеров практической интерпретации Лениным этих его определений нравственности обнаруживается в следующем эпизоде документальной книги Н. Валентинова "Малознакомый Ленин": в диалоге со своим коллегой по партии Ленин говорит о некоем Викторе Таратуте, женившемся на родственнице Саввы Морозова (знаменитое дело о наследстве Шмидта) ради пополнения партийной кассы ее деньгами: "Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не смог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый""*

*В.И. Ленин. "Задачи союзов молодежи", т. 31, изд. IV.

** Н. Валентинов. "Малознакомый Ленин". Библиотека пяти континентов. Париж, 1972 г.

Итак, сам Ленин стать сутенером ради пополнения партийной кассы не смог бы. Но его критерии партийной нравственности требуют от коммуниста готовности и к такому шагу. Возникает версия человека, не просто брезгливого (может быть, по воспитанию), а посему склонного делать вещи сомнительные чужими, а не своими руками — нет: возникает макет человека, преклоняющегося перед теми, кто полнее, чем он, способен переступить через себя ради цели!.. Но не надо спешить: Владимир Ульянов плохо укладывается в однозначные версии. Он отнюдь не только идейных "переступателей" через нравственные запреты использует в интересах партии. В одном из писем Г. Кржижановскому, своему тогдашнему "alter ego", из эмиграции в Россию, предлагая кооптировать в ЦК недостающего члена, Ленин замечает, что его кандидата многие считают человеком сомнительным, но тут же добавляет, что взять его в ЦК необходимо, так как он будет делать все, что Ленин и его единомышленники от него потребуют. По свидетельству одного из наиболее компетентных историков КПСС английского ученого Леонарда Шапиро, западных исследователей поражает обилие полицейских агентов, иногда двойных, в большевистской партии, даже в ее верхах. По данным профессора Шапиро, некоторые авторы не без оснований предполагают, что большевик-provocateur Р. Малиновский (столь же прославленная фигура среди provocateurs-большевиков, сколь Азеф — среди provocateurs-эсеров) работал и на охранку, и на Ленина; но Ленин потом от него отрекся и не стал его защищать, хотя Малиновский, добровольно вернувшийся в большевистскую уже Россию, на Ленина только и рассчитывал и просил вызвать его на следствие. Профессор Шапиро пишет:

"Обилие полицейских агентов среди большевиков, даже в руководстве партии, отмечалось неоднократно. В меньшевистских рядах крупных агентов было мало. Единственный известный случай — В. Абросимов, делегат Венской конференции, видный петербургский "практик", завербованный полицией в 1912 или 1913 году. Этот поразительный контраст обусловлен тремя причинами. Во-первых, главная цель охранки — держать обе фракции в состоянии раскола — достигалась легче с "помощью" большевиков, и поэтому потенциальные агенты

засылались именно в их ряды. Во-вторых, неразборчивый в средствах большевик-конспиратор был ближе по характеру к тому типу авантюриста, которого привлекала двойная жизнь полицейского агента и революционера, чем доктринер-меньшевик, к тому же еще и идеалист. Наконец, большевик был, как правило, революционером-профессионалом, находившимся на содержании Центрального Комитета; меньшевика же партия содержала лишь в редких случаях — он зарабатывал себе на жизнь самыми различными способами. Профессиональному революционеру в своей повседневной жизни легче сыграть еще одну, хоть и противоположную по сути, роль; кроме того, он испытывал еще большой соблазн сорвать лишний куш — большевики платили довольно скупо, а охранка — весьма щедро**.

Все это так. Но и само по себе ленинское "все дозволено ради партии", макиавеллистское в точном смысле этого слова, группировало вокруг него уже с 1900-х годов людей определенного морального склада. И обилие в партии провокаторов, и связь между Лениным и Малиновским, и другие сомнительные ленинские шаги и альянсы, говорить о которых здесь невозможно, несомненно, связаны с его собственной этикой.

На V съезде РСДРП Ленину пришлось давать объяснения по поводу привлечения его в недавнем прошлом к партийному суду за клевету на коллег по партии**. Самооправдания Ленина на этом съезде тоже имеют прямое отношение к его этическим принципам. Признавая открыто, что он в своей брошюре искажил побуждения и смысл действий своих оппонентов, он говорит о своих нападках на них:

"Существуют ли пределы допустимой борьбы на почве раскола? Партийно допустимых пределов такой борьбы нет и не может быть, ибо раскол есть прекращение существования партии... Пределы борьбы на почве раскола это — не партийные, а общеполитические или, вернее даже, общегражданские пределы, пределы уголовного закона и ничего более". (Разрядка наша.)

Итак, у ленинской социальной этики два критерия: партийная целесообразность и "пределы уголовного закона". Он говорит об этом с завидной четкостью. Как только российское уголовное законодательство тоже начало определяться пар-

* См. Леонард Шапиро. История КПСС, издательство "Аврора", Италия, 1975.

** "Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы". Москва, 1963.

тийной целесообразностью, всякие "пределы" в этом плане исчезли.

Его преемники, даже Сталин, никогда не позволили бы себе такой откровенности: кому охота признаваться во лжи? Ленин же, по субъективному его ощущению, очевидно, не лжет: он маневрирует во имя все той же цели; а его противники не заслуживают, с его точки зрения, честной дуэли уже потому, что преступно мешают ему к этой цели двигаться. Кто же станет идти на дуэль с преступником?..

Вся полемическая публицистика Ленина ориентирована не на оппонентов, а на массу, на толпу. Для массы у Ленина есть особые (подхваченные впоследствии всеми партийными пропагандистами) приемы полемики: создается словесный муляж объекта атаки, ему придаются необходимые (для нападающего) черты, муляж поднимают за шиворот перед аудиторией, завоеванию коей служит "полемика", и осыпают пощечинами и бранью. Карикатурное, гротескное, частичное сходство отдельных черт муляжа с оригиналом делает избивание особенно впечатляющим. В обширнейшей ленинской "истребительной" публицистике "тон, который делает музыку" (Ленин), задается чаще всего уже хлестким демагогическим заголовком.

"Безумные капиталисты или недоумки социал-демократы?..", "Неудачная попытка гражданина Плеханова вывернуться", "Бесстыдная ложь капиталистов" (это по поводу реплики члена партии народной свободы министра Некрасова, осмелившегося робко выразить в апреле 1917 года следующее опасение: "Страшна та проповедь насилия, которая ныне раздается с Каменноостровского проспекта" — из резиденции большевиков)...

Мы взяли наугад заголовки с одной страницы оглавления к одному тому сочинений Ленина. Можно было бы безукоризненно доказать несоответствие подавляющего большинства таких "истребительных" заголовков истине, но к чему? Ленин сам невозмутимо и откровенно заявил перед съездом, что не

считает себя обязанным следовать истине в поединке с теми, в ком полагает в данный момент своих политических врагов, мешающих ему двигаться к этой цели.

На тему "Язык Ленина" защищались кандидатские диссертации, но догадался ли кто-нибудь из диссертантов сравнить рабочие записи Ленина с их "Nota bene" и mots на пяти языках — трех современных и двух древних — с его чисто пропагандистскими статьями 1917-1922 годов? Хотя бы с этой - "Советская власть и положение женщины"* , где Ленин пишет:

"Пусть лжецы и лицемеры, тупицы и слепцы, буржуа и их сторонники надувают народ, говоря о свободе вообще, о равенстве вообще, о демократии вообще. Мы говорим рабочим и крестьянам: срывайте маску с этих лжецов, открывайте глаза этим слепцам. Спрашивайте:

— Равенство какого пола с каким полом?

— Какой нации с какой нацией?

— **Какого класса с каким классом?"** (курсив Ленина).

При том широком наборе полов, которым отличается Homo sapiens, это "какого пола с каким полом" (подчеркнутое в статье дважды), похоже на анекдот. Однако статья выдержала без ущерба для автора и редакторов не менее шести изданий: одно — газетное и пять — в собраниях сочинений...

Еще один редко цитируемый документ:

Г. ЗИНОВЬЕВУ*

26.У1.1918.

Также Лашевичу и другим членам ЦК

Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает.

Привет! Ленин

* "Беднота" №478, 7/IX-1919 г.

**Изд. IV, т. 35.

Это темпераментное послание адресовано тому самому Г. Зиновьеву, которого советологическая традиция считает лютым предтечей Сталина при человеческом Ленине.

Человечность Ленина — особая тема. Эта тема любопытна хотя бы уже потому, что, с легкой руки Маяковского, она заняла основное место во всех советских лениноведческих художественных и пропагандистских клише. Она определяет советский и во многом международный массовый стереотип представлений о Ленине. Этот стереотип существенно откорректирован рядом западных исследований. Но с ними знаком сравнительно узкий круг читателей. Между тем, никто не может рассказать о Ленине лучше, чем он сам. К примеру: в декабре 1917 года, призывая рабочих соревноваться в перевоспитании и истреблении врагов большевизма, он пишет:

"...В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов".

"Рабочие и крестьяне нисколько не заражены сентиментальными иллюзиями господ интеллигентов, всей этой новожиизненской и прочей слякоти..."

"Несентиментальным" рабочим и крестьянам вряд ли было понятно, кто подразумевается под "новожиизненской и прочей слякотью".

Нам же будет весьма любопытно выяснить, почему так раздражен Ленин журналом "Новая жизнь", в состав редколлегии которого входили: Брюсов, Красин, Мартов, Маяковский, Лариса Рейснер, Ромэн Роллан, К. Тимирязев, А.Н. Толстой, Урицкий, Уэллс, Шкловский. Одним из трех редакторов журнала был М. Горький. В 1918 году Горький писал в своем журнале:

*В.И. Ленин, т. 26, изд. IV.

"Расстреляны шестеро юных студентов, ни в чем не повинных, — это подлое дело не вызывает волнений совести в разрушенном обществе культурных людей.

Десятками избивают "буржуев" в Севастополе, в Евпатории, — и никто не решается спросить творцов "социальной" революции: не являются ли они моральными вдохновителями массовых убийств?"

"За время революции насчитывается уже до 10 тысяч "самосудов". Вот как судит демократия своих грешников: около Александровского рынка поймали вора, толпа немедленно избивала его и устроила голосование: какой смертью казнить вора: утопить или застрелить? Решили утопить и бросили человека в ледяную воду. Но он кое-как выплыл и вылез на берег, тогда один из толпы подошел к нему и застрелил его".

"Вероятно, все помнят, что после того, как некий шалун или скучающий лентой расковырял перочинным ножиком кузов автомобиля, в котором ездил Ленин, — "Правда", приняв порчу автомобильного кузова за покушение на жизнь Владимира Ильича, грозно заявила:

"За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии".

Видимо, эта арифметика безумия и трусости произвела должное влияние на моряков, — вот они уже требуют не сотню, а тысячи голов за голову.

Самооценка русского человека повышается. Правительство может поставить это в заслугу себе".

Легко представить себе реакцию Ленина на материалы, опубликованные в "Новой жизни". И хотя он не позволяет себе открыто откликаться на них, оставляя за кадром свои отношения с журналом, он во многих выступлениях того времени методически развивает в толпе ненависть ко всему неуправляемому племени интеллигентов:

"Задача организационная сплетается в одно неразрывное целое с задачей беспощадного военного подавления вчерашних рабовладельцев (капиталистов) и своры их лакеев — господ буржуазных интеллигентов. Мы были всегда организаторами и начальниками, мы командовали — так говорят и думают вчерашние рабовладельцы и их приказчики из интеллигенции — мы хотим остаться таковыми, мы не станем слушаться "простонародья", рабочих и крестьян, мы не подчинимся им, мы превратим знание в орудие защиты привилегий денежного мешка и господства капитала над народом. Но дело эксплуататоров и их интеллигентской челяди — безнадежное дело. Их сопротивление рабочие и крестьяне ломают, — к сожалению, еще недостаточно твердо, решительно и беспощадно — и сломают т".*

*В.И. Ленин. "Как организовать соревнование".

Обида на "Новую жизнь", разумеется, не основная причина ленинской интеллигентофобии, сквозящей в массе его работ, в том числе — в "Государстве и революции", его основополагающем теоретическом труде.

Для Ленина существует только одна фигура, свободная от необходимости соглашаться с Лениным, — это он сам. Интеллигенция же упрямо навязывала Ленину политико-идеологический спор в открытую. Но он перчатки не поднимал: ни его программа, ни создаваемый им строй не могли бы выдержать глубокой и независимой критики...

Но, может быть, в конце жизни он оглянулся на дело своих рук и ужаснулся? Или хотя бы усомнился? Так, во всяком случае, принято считать. И на этом настаивают неомарксисты, ссылаясь на последние ленинские письма. Но достаточно прочитать открытыми глазами многократно опубликованное, чтобы увидеть отчетливо, чему он ужасался:

"Вырывается машина из рук: как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляет кто-то, не то нелегально, не то незаконно, не то бог знает откуда взятое, не то спекулянты, не то частнохозяйственные капиталисты, или те и другие, — но машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит у руля этой машины..."*

"Улучшение системы управления и психологическая мобилизация масс". Это смертоубийство! Если бы на такую точку зрения политической реакции съезд встал, то это был бы вернейший и лучший способ самоубийства.

"Улучшение системы управления". Дай бог подойти к тому, чтобы выйти из той сутолоки, которая существует.

Мы системы не имеем? Пять лет лучшие силы уходили на то, чтобы создать эту систему! Эта система есть величайший шаг вперед".*

И снова грозил, пытаясь вернуться к привычным приемам: "когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление, — тут иногда достаточно и немногих панических голосов, чтобы все побежали. Тут опасность громадная. Когда происходит такое отступление с настоящей армией, ставят пулеметы, и тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командуют: "Стреляй!". И правильно".*

Все это, как и послание Курскому о терроре, написано в 1922 году, а не в "архивном" 1918.

*Изд. IV, т. 33, стр. 250, 284, 252.

За год до смерти он лихо цитирует:

"Помнится, Наполеон писал: "On s'engage et puis... on voit". В вольном русском переводе это значит: "Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет". Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир, или нэп и т.п."*

Вспомните бессмертное пушкинское, в "Онегине": "Мы все глядим в Наполеоны: двуногих тварей миллионы для нас орудие одно"... Не дословно ли? "С точки зрения мировой истории", которую всегда представляет только он, Ленин, (с его партийной, военно-пропагандистской, политической сиюминутной целью или с призрачной "конечной" целью-оборотнем), много ли значат такие "детали развития", как жизнь и смерть миллионов людей?

Сначала втравим их в кровавую бойню, "а там посмотрим"...

Нет, этот Раскольников, воплотивший свой (перевернувший историю) "бред" в действительность, не ужаснулся содеянному даже за год до смерти.

И в заключение — бытовой эпизод. По аналогии со знаменитым некрасовским дедом Мазаем мы бы назвали его "Дедушка Ленин и зайцы". Н.К. Крупская в своих воспоминаниях о Ленине весело и простодушно рассказывает, как однажды в Шушенском ее супруг охотился на зайцев. В половодье, подъехав к выступавшему из воды островку, на котором спасались зайцы, он перестрелял, всех зверьков, набил ими лодку и возвратился с трофеями к своей жене. Между прочим, в дни стихийных бедствий даже хищные звери перестают охотиться. Лисы и зайцы спасаются от полой воды на одном клочке суши. Что ж, и по этому пустяковому, казалось бы, поводу возникает все та же мысль: нет, не привила М.А. Бланк-Ульянова, эта скорбная богоматерь всей советской художественной "ленинианы", своим сыновьям человечнейшее из свойств души — уважение к Жизни.

*"Письма о нашей революции", 17/1-1923 г., т. 33, изд. 1У.

"Как различить ночных говорунов, хоть смысла в этом нету никакого?"
"Когда повыше — это Горбунов, а где пониже — голос Горчакова".

Иосиф Бродский.
"Горбунов и Горчаков".



Владимир СОЛОВЬЕВ

КУМИР НАЦИИ, ИЛИ ЭОЛОВА АРФА

Опыт диалогической характеристики

Вымышленный диалог о литературе — распространенная форма в русской критике XIX века. Появляется в 1831 году "Борис Годунов", и вот уже газета "Листок" печатает диалог старика и молодого человека, а в Московской университетской типографии выходит целая брошюра: "О Борисе Годунове, сочинении Александра Пушкина. Разговор помещика, проезжающего из Москвы через уездный городок, и вольнопрактикующего в оном учителя российской словесности".

Да и пример философов — от Платона до Кьеркегора — дает нам ту же подсказку: не рецепт на всякий случай жизни, а именно подсказку — на данный конкретный. В конце концов, спор этот не подслушанный и не вымышленный, ибо два несогласных голоса звучат во мне едва ли не всякий раз, когда я о чем-либо пишу. Да и только ли два?

Так вот, чтобы не укладывать эту разноголосицу в прокрустово ложе императивной критики, автор был вынужден раздвоиться на двух персонажей — это как минимум — и назвать их соответственно: апологета — Азом, а оппонента — Буки (ибо бука, брюзга, зоил).

Это однако постфактумное объяснение, а первоначальная и истинная причина диалогического метода — как и любой дискуссионной формы в цензурной советской печати — в том, чтобы иметь возможность высказать и опубликовать запрещенную точку зрения.

Я знаю, впрочем, случаи, когда затевалась дискуссия о десяти голосах с тем только тайным намерением, чтобы дать прозвучать в ней одному, одинокому, невозможному.

И срывалось: девять оставались, а не в ногу шагающий — под нож.

Нет худа без добра — не я первый это замечаю в связи с рабочими условиями существования нашей литературы: Салтыков-Щедрин писал о небезвыгодности эзопова языка, а Герцен про то, что иносказательная речь хранит следы волнения, борьбы, и страсти в ней больше, чем в простом изложении.

Страсти нам и в самом деле не занимать — противник нас воодушевляет и вдохновляет: вперед, мой художочный Росинант, что там впереди — советская власть или ветряная мельница?

Из того же поэта, из которого мы извлекли эпиграф, и из той же его поэмы:

*Ибо чувствую, что я
тогда лишь есть, когда есть собеседник.*

Поэтому поблагодарим советскую цензуру за возрожденную к жизни диалогическую форму, которая тем более сейчас необходима, что разговор о Евгении Евтушенко.

Прежде всего не станем нагружать Аза и Буки примитивными функциями — плюс и минус, да и нет. Не только потому, что найти сейчас евтушенковского адепта затруднительно, зато зоилов — пруд пруди. Еще для того, чтобы не стеснять свободу моих воображаемых персонажей — а вдруг Аз, защищая поэта на пятой странице, на десятой даст ему по первое число?

Вся-то разница — в тональности голоса, а позиция, видит Бог, одна, ее-то мы и выясним.

На один из моих критических наскоков — я упрекнул его в болтливости — Евтушенко ответил стихотворением "Многословие". Познакомившись с ним лично и ненадолго подружившись, я стал относиться к его стихам снисходительнее и даже написал статью с первоначальным названием "Оправдание Евтушенко", где читательское неприятие объяснял законом пружины: чем больше она сжата, тем сильнее отдача — обратное движение. То же с любовью и нелюбовью к Евтушенко: читательская неблагодарность аналогичной природы, что и прежние преувеличения, она — месть за прежнюю, безоглядную любовь, о которой сегодня вспоминаешь со стыдом...

Чем четче и непреклоннее формулируем мы тезис, тем неумолимей он требует своего антитезиса — это старый закон, и я его сейчас применю на практике, в диалоге Аза и Буки.

А з: Когда проходит любовь, разве злоба и ненависть — на смену, а не равнодушие?

Б у к и : За прежнюю любовь всегда мстишь, потому что в ней — возвышение объекта и неизбежное самоуничтожение.

А з: В таком случае, при чем здесь поэт? Это роман читателя с самим собой, а поэт оказался под рукой, его попытались подогнать под умозрительный идеал. Но изменился читатель — и резко: на поэта он смотрит издали и не узнает его.

Б у к и : Изменился читатель, а поэт не изменился — вот в чем дело. Изменилось время, а поэт — каким был, таким и остался. А верность самому себе в поэзии не вознаграждается. Евтушенко — это характерное явление определенного времени, когда к собственно литературе предъявлялись минимальные требования, когда все строилось на намеках, ближайших ассоциациях, "эзоповой фене", *une pensee arriere*, несложном камуфляже и примитивных эвфемизмах, когда поэт был шифровальщиком, а читатель — дешифровщиком, и достаточно было сказать об арестах в Греции, чтобы напомнить о советских тюрьмах, а трюизм трюизмов — "сердце всегда слева" — звучал не как физиологическая банальность, но как — нашего полку прибыло, коли и сердце вместе с нами, в левой оппозиции. Ах, какие это были времена, какой язык, какая акустика!

А з: Тайная сигнализация — от сердца к сердцу, ибо любое и всегда слева! А власть срочно изучала чужой ей язык и перехватывала сигналы художников, а обжегшись на молоке, дула на воду: даже классика казалась огнеопасной. И уже спектакль о Гамлете либо о смерти Иоанна Грозного, фильм по "Скверному анекдоту" Достоевского и статья о грибоедовской комедии звучали наподобие взрыва бомбы, и подтекст из художественного понятия превратился в политическое. И разве Евтушенко не возглавил тогда это, скорее даже общественное, чем литературное движение? Разве не он написал и напечатал в "Правде" стихотворение "Наследники Сталина"? Разве не он был барабанщиком эпохи?

Б у к и : Скорее барабаном, чем барабанщиком. И здесь надо отдать ему должное — это был хороший барабан, и палочки отскакивали от туго натянутой его кожи, извлекая звук, хоть и примитивный, но сильный. Есть люди, на которых время выписывает свои письма. Они не плохие и не хорошие, но такие, как время: его сколок, его обезьяна, его тень и его

копия. "Наследники Сталина" напечатаны в "Правде" не Евтушенко, но Хрущевым — и им же написаны. (Как и все остальное евтушенковское в хрущевскую пору — от антисталинских стихов до вьетнамских и кубинских.) Евтушенко — не писатель, но писец, переписчик, услужливый секретарь Времени. И самое страшное, что любого: сталинского, хрущевского, брежневского, если определять монографически. Он хорош в хорошие времена и плох в плохие.

А з: А разве не забегал он вперед времени, которое его так и не догнало, увы, — хотя бы в "Бабьем Яре"?

Б у к и: Не хотя бы, а в первый и последний раз. Евтушенко шагает в ногу не со временем, не с читателем, но с идейными указаниями, свыше спущенными инструкциями.

А з: Но была же точка схода — поэтический бум вокруг Евтушенко: с переполненными залами, с трибунными заявлениями, с конной милицией! Ушло то время и унесло не только поэта, но и воспоминание о нашей любви к нему. Утраченный же ныне контакт Евгения Евтушенко с аудиторией драматичен, хотя и выглядит фарсом — это потому, что трибун русской поэзии занял сейчас место клоуна у её ковра.

Но разве движение литературы — легкий процесс? И когда читательской любви хватало больше, чем на десятилетие — вспомним классиков от Пушкина до Блока: разве от них читатель не воротил морду? Это жизненный закон: чтобы двигаться вперед, необходимо отринуть от себя прошлое. При этом больше всего достается бывшим кумирам — как дружно римляне скидывали статуи только что умерших императоров! А мы — поэтов: евтушенковскую — в первую очередь, не дожидаясь смерти. Вот здесь и следует удвоить свою внимательность, чтобы не ошибиться, не дай Бог. Ведь сегодняшнее отрицание вчерашних кумиров — это отрицание во имя движения, уже из иного пункта: новые критерии и новые вкусы — это все-таки следствие движения литературы, а никак не его причина. Обретая новые критерии, мы начисто забываем о прежних. Это — во-первых, а во-вторых, — нельзя одной меркой мерить разных поэтов: стоит припомнить уроки русской критики — не только ее достижения, но и заблуждения. Нель-

зя о Пушкине судить, исходя из поэтики Некрасова, — к чему это привело, мы помним из досадного, а говоря определеннее, хунвейбиновского опыта Писарева. Обозначая отличия одного поэтического периода от другого, не стоит за счет нового отрицать прежнее.

Б у к и: А разве можно достичь нового, сохранив пиетет к прежнему? Будто есть такие наблюдательные вышки, поднявшись на которые критик мог бы с академическим спокойствием наблюдать с птичьего полета дислокацию литературных сил! Критик находится внутри литературы; как и любой ее другой участник, и самые объективные его оценки неизбежно пристрастны, тенденциозны и субъективны. У каждого из нас точечное мирочувствие, пользуясь выражением о. П. Флоренского, который тоже мечтал о соборности, объективности и вселенском сознании. Мечты, мечты...

А з: А вот Мандельштам считал эти мечты вполне осуществимыми, точнее — желательно осуществимыми — в жанре истории литературы, во всяком случае. Он писал, что при смене литературных форм каждое приобретение сопровождается утратой, и, подобно тому, как существуют две геометрии — Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна говорила бы только о приобретениях, другая — только об утратах, и обе говорили бы об одном и том же, ибо столько же новшеств, сколько потерянных секретов.

Может быть, и мы говорим об одном и том же — не хватает только умения совместить два этих подхода, мнимо противоположных? Ведь что такое два наших голоса, как не спор прошлого с будущим, но спор внутренний, спор ego с alter ego персонификация раздвоения. Разве не так?

Б у к и: Нет никакого прошлого и будущего, а есть только настоящее. Человек не может жить одновременно в нескольких измерениях. Футуролог — либо пассеист — это ущемленный человек, отклонение, патология, ущерб — за счет реального настоящего. А в настоящем мы видим судьбу Евгения Евтушенко на склоне, в кризисном, а то и катастрофическом состоянии, и не славное прошлое отбрасывает мерцающий

свет на позорное настоящее, но сомнительное настоящее застилает своей тенью славу и подвиги прошлого, заставляя усомниться — а был ли мальчик?

В настоящем уже нет ни "Бабьего Яра", ни "Наследников Сталина", но есть великодержавный бред — "Мы в духовные холопы Америки и Европы не попадем по простоте. И русский русским остается, когда в нем дух землепроходства. Дай твою шапку, Мономах — у нас в ушанках недостача!" Препжний евтушенковский пафос вилял между государством и диссидентством, теперешний самоопределился, наконец. Только сейчас этот пафос уже непристоен — даже Брежнев, говоря о том же, не повышает голоса, как Евтушенко. Его восклицательно-одическая интонация преобладает сейчас над любыми другими, подменяет их и подминает под себя. Квасной патриотизм Евтушенко опасен, потому что, в отличие от официального, не отчужденно-ритуально-формален, но криклив и требует отклика: кто не с нами, тот против нас. Он пытается оживить этикет за счет сердечной лирики и эстрадной патетики. Мертвое он выдает за живое и настырно требует от читателя веры в чудо воскрешения, хотя Лазарь идеологии как был трупом, так им и остался, ибо — мертворожденный.

А з: Но у Евтушенко, как ни у одного другого в мире поэта, тесная связь с читателем, а точнее — зависимость от него, часто драматическая. Он плоть от плоти своего народа, а каждый народ имеет не только правительство, которого заслуживает, но и соответствующего поэта. Сдвиг, произведенный им в поэзии, касался прежде всего читателя — аудитория поэзии была расширена необыкновенно, и читатель был введен словно бы в самую поэзию насильственно, как насосом, в нее втянут, без него стихи уже не мыслились. И в этом — парадокс, потому что структурно и семантически поэзия Евтушенко менее всего может быть названа народной. Принципиально народна поэзия Бориса Слуцкого — он и в самом деле "не отвернулся от народа", хотя имел для подобной акции самые серьезные резоны. Он-то не отвернулся, но народ отвернулся — от его стихов, с тем, чтобы повернуться к стихам Евгения Евтушенко. Слуцкий кровно заинтересован в читателе, но

палец о палец не ударит, чтобы его заинтересовать, не отступит от своей программы ни на йоту. Слишком тяжело далась ему поэтическая независимость: пожертвовав главным, он не уступит в мелочах. Евтушенко в этом отношении — полная ему противоположность. Амплитуда его отношений с читателем настолько разнообразна, будто он — не один поэт, а по крайней мере, с десяток. Один оглушает читателя, другой с ним перешептывается и перемигивается, третий что-то от него требует, четвертый перед ним заискивает и так далее — до бесконечности. Стихи Евтушенко — это обращения к читателю — к врагу или к другу, к любимой или ко всему человечеству.

Б у к и : Наиболее излюбленный им вид обращения — ко всем вместе и ни к кому в частности. Ему важен, увы, не слушатель, но слушатели — безликая и безгласная аудитория. Он обращается сразу ко всем и ни к кому в отдельности, адрес его позиции — слишком близкий, с суетливым желанием сиюминутного, немедленного отклика и одновременно слишком расплывчатый, коллективный, всеобщий, как письмо Ваньки Жукова на деревню дедушке, то есть фактически его деперсонализированные обращения еще и безадресны.

А з: Будто это сам Евтушенко не чувствует?! Это и есть его драма как поэта и как человека: "Какая же цена ораторскому дару, когда расшвырян вдрызг по сценам и клише, хотел я счастье дать всему земному шару, а дать его не смог — одной живой душе?!" — это в лирическом признании, а вот — общественно-политическое: "Голос мой в залах гремел, как набат, площади тряс его мощный раскат, а дотянуться до этой избушки и пробудить ее — слабоват".

Б у к и : Что за ненасытность такая — избушка-то ему еще зачем? Мало ему что ли Лужников? Какая тотальная всеядность!

Вот о чем предупреждал Мандельштам: "...перерождение чувства личности, гипертрофия творческого "я", которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекающего мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает

ни одной клетки, как своей, пораженное болезненной водяной мировой тем".

А з: И разве возможно быть любимым и расхожим поэтом России, оставаясь поэтом в простом смысле этого слова? Здесь и в самом деле обратное влияние — не поэта на аудиторию, но аудитории на поэта. Евтушенко расширил границы поэзии и, в конце концов, вышел за ее пределы. Стих, написанный по горячим следам, оказывается и торопливым, и небрежным, и поверхностным...

Б у к и: И вообще не стихом. Ведь и знаменитый "Бабий Яр" — стихотворение беспомощное, слабое...

А з: Пусть так — зато какой отклик! Потому что среди читателей Евтушенко — большинство безразлично, равнодушно и глухо к поэзии и, кроме стихов Евгения Евтушенко, других стихов не читает. Они привлечены в поэзию помимо поэзии и соответственно — помимо поэзии, хотя и под ее видом — обращается к ним поэт. Как точно писала Белла Ахмадулина: "А в публике — доверье и смущенье. Как добрая душа ее проста. Великого и малого смещение не различает эта доброта".

Но надо дать в нашем споре слово самому Евтушенко: "Поэт в России больше, чем поэт".

Б у к и: И меньше — за счет того же, за счет чего больше. Неужели поэту мало быть поэтом? Тютчеву мало быть Тютчевым, Мандельштаму — Мандельштамом? Больше, чем поэт — кто же еще? Евтушенко пытается объять необъятное и становится щедрее, чем позволяют Богом данные ему возможности: поэзии ему при этом не хватает. Он напоминает человека, который живет не по средствам, — тратит то, чего у него нет.

А з: А где найти такие возможности, которые удовлетворили бы чуть не космической жажде общения у Евтушенко — разговаривать со всеми и обо всем? У кого еще из поэтов найдем мы такую апологетику — даже не антипоэзии, но — непозэзии: "В непозэзии столько поэзии! Непозэты — поэты вдвойне". И еще более определенно: "Я останусь не только стихами..."

Б у к и: Благодарю за обе цитаты, это и в самом деле убийственная самохарактеристика... комментарии излишни.

А з: В том-то и дело, что не излишни — здесь, по сути, и начинается наш разговор. Ибо верно — Евтушенко останется не стихами, но останутся, в том числе, и его стихи. Ведь его стихи можно рассматривать и в качестве неизбежных и даже необходимых издержек его поэтического производства. Причем, эти издержки выполняют двойную функцию — как шлак, который является не только отходами в металлургическом производстве, но и защищает покрываемый им металл от воздействия среды.

Б у к и: Недостатки и достоинства его стихотворного хозяйства — кстати, необычайно захламленного — его частые провалы и редкие взлеты особенно остро ощущаешь на пограничных участках его поэзии. Просчеты — в том случае, когда метод исчерпывается тем, что доводится до логического предела, в результате — до абсурда (ибо таков метод, увы). А взлеты, когда Евтушенко "прорывает" собственный метод и поступает наперекор ему. Иначе говоря, мы признаем Евтушенко, когда он перестает быть среднеарифметическим Евтушенкой, но становится Маяковским, Есениным, Слуцким, Самойловым, Вознесенским, Ахмадулиной — кем угодно, но только не самим собой. А его переимчивость и перевоплощаемость настолько велика и тотальна, что начинаешь подозревать в нем отсутствие индивидуального поэтического лица, иначе — зачем такое количество поэтических масок? Поэт и актер — противоположные профессии, несовместимые.

А з: Мы снова заблудились в незнакомом лесу словесных абстракций. Речь идет не о поэте вообще, но о поэте Евгении Евтушенко. А ему театр не противопоказан, но совсем напротив. Тот самый театр, о котором Макс Волошин писал, что он создается не на сцене, а в душе зрителей.

Б у к и: Разве может быть поэт, действующий не по внутреннему побуждению, но по системе Станиславского? Тогда в театр его надо, на сцену! Перефразируя Мандельштама — поэтическое лицо Евгения Евтушенко определяется главным образом недостатками его поэзии...

А з: Но дело в том, что Евтушенко, широко пользуясь заемной стихотворной интонацией, делает это откровенно, не

скрывая адреса своих поэтических кредиторов. Перевоплощения перевоплощениями, но стихи Евтушенко не спутаешь со стихами других поэтов: широко пользуясь чужим стихом, он достигает тем самым мгновенной стиховой реакции и общественной мобильности.

Б у к и: Да уж, реактивности у него не отнимешь — прямо-таки эолова арфа: малейшего дуновения достаточно, чтобы зазвучала. А точнее — в переводе с греческого на русский — флюгер. Но каким образом флюгер может иметь собственную индивидуальность?

А з: Это же очень просто — эклектика в конце концов создает свое лицо, потому что не стихийна, а сознательна, и есть в ней своя система и свой отбор. Поэтическую политику Евтушенко можно сравнить с политическим методом Ивана Калиты — он собирает повсюду, берет налево и направо, но все объединяет собственными — не литературными, а человеческими и политическими пристрастиями...

Б у к и: ...которые меняются с такой же стремительностью и безоглядностью, как и поэтические.

А з: Кажется, мы начали разговор с того, что изменился читатель, изменилось время, а поэт демонстрирует никому не нужную верность самому себе? Может быть, следует все-таки уточнить, почему читатель и поэт потеряли друг друга — не потому, что один стоит на месте, а другой движется, но потому, что они движутся в разные стороны, и была у них единственная точка схода, когда они, двигаясь навстречу друг другу, сошлись, потоптались на месте, покалякали и — слиняли, разошлись навсегда. А теперь издали посылают друг другу проклятия: Евтушенко — своему бывшему читателю, а читатель — бывшему своему кумиру.

Б у к и: Так и должно — нельзя жить заслугами прошлого или обещаниями на будущее. В конце концов, мы судим о живом поэте, а не провожаем его торжественно на пенсию и не сочиняем по нему этикетно-панегирический некролог. De mortuis nil nisi bene, но о живых-то да будет нам позволено говорить все, что мы про них думаем. Или Евтушенко уже неживой, а бывший: экс-кумир, экс-поэт, экс-явление? Похоже и

на это — тогда отбросим ритуал и скажем о покойнике все, что мы о нем думали при жизни. Ведь в чем изменился читатель, а поэт остался неизменным — в знаковой, намекально-эзоповой манере, которую поэт сохранил, а читателю она уже недостаточна и обрыдла. Евтушенковская система сигнализации стала непонятной, как древняя клинопись — он усердно нам подмигивает, а кажется, что кривляется и фиглярничает, и нам становится за него стыдно. Безнадежно утерян ключ этой эпистолярной между писателем и читателем тайнописи. Массонские тайные знаки уже не нужны, потому что уже можно — и нужно — говорить в открытую. Роковую роль в судьбе Евгения Евтушенко сыграла третья волна русской эмиграции (по преимуществу гуманитарная и литературная волна). И с возвращением уехавших обратно в Россию — стихами, романами — недвусмысленно обозначилась сугубо советская природа того явления, которое называется — Евгений Евтушенко. Его противоположность системе оказалась мнимой, во всяком случае, менее значительной, чем его зависимость — фразеологическая, идеологическая, сущностная — от системы. Парадокс в том, что у врагов мы учимся больше, чем у друзей: классический пример — Сталин и Гитлер. И надежда Евтушенко на читателя оправдалась только в том смысле, что яростные борцы с его поэзией из рядов партийной и государственной бюрократии в конце концов адаптировали его дозированный либерализм и даже превратились в поклонников и защитников поэта. Ибо половинчатые стихи Евтушенко — говорю о прежних — вместе с хрущевскими прыжками в два приема через сталинскую бездну были живой водой на смердящий труп идеократического государства и реанимировали-таки его в самую кризисную и безнадежную пору. Теперь перед нами мертвец со всеми признаками жизни, и ентушенковские стихи — косметика, мимикрия, парадный мундир бюрократического и тоталитарного режима. А вот Евтушенко — по тому же закону обратной связи — яростно отстаивает сегодня то, что вчера еще столь же яростно отвергал, оправдываясь тем, что поэт — политик поневоле:

**и там, где огонь гудит, развихрясь,
где стольким видится Антихрист,
он видит все-таки Христа.**

И беда не в том, что он Антихриста выдает за Христа, но в том — что не верит ни в того и ни в другого. Евтушенко — сколок эпохи: какова эпоха, таков и он. Разве что на полшага ее опережает: в добре или зле — это в зависимости от официальной тенденции. Его можно было бы безобидно назвать Хлестаковым или Репетиловым русской поэзии, если бы он не был ее Тарелкиным.

Он умер вместе со временем, и у нас мало добрых слов, чтобы сказать о нем на его панихиде, но о теперешнем его однофамильце — и того меньше. Поэтому, будь я Азом, а не Буки, я бы и в самом деле ограничился разговором о его прошлом и написал бы ему эпитафию заживо, заменив в великой пьесе Сухова-Кобылина имя Тарелкина на имя Евтушенко:

"Не стало рьяного деятеля — не стало воеводы передового полку. Всегда и везде Евтушенко был впереди. Едва слышит он, бывало, шум совершающегося преобразования или треск от ломки совершенствования, как он уже тут и кричит: вперед!! Когда несли знамя, то Евтушенко всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом — так, что уже Евтушенко был впереди, а прогресс сзади! — Когда пошла эмансипация женщин, то Евтушенко плакал, что он не женщина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей... как надо эмансипироваться... Не стало Евгения Евтушенко, и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Евгения Евтушенко, и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность..."

А з: Конечно, Евтушенко уязвим более других. Он так тесно связан со временем и со страной, что по нему потомки будут судить не о нем — поэте, но о стране:

**Мой почерк не каллиграфичен.
За красотой не следя,
Как будто бы от зуботычин,
Кренясь, шатаются слова.
Но ты, потомок, мой текстолог,
Идя за прошлым по пятам,
Учи условия тех штормов,
В какие предок попадал.**

Б у к и : С эпохи будет спрошено отдельно, а персонально — с Евтушенко. Ему не удастся отговориться качкой, штормом, зуботычинами и прочими условиями советского существования. Это как с советским сельским хозяйством — чуть ли не ежегодно мы ищем метеорологические причины неурожая, когда на самом деле они кроются в социальных аномалиях и пороках. А что касается погоды, то я напому про описание Баратынским буйственного урагана, который вызывает и говор шумного леса, и бурю в океане:

**Так иногда толпы ленивый ум
Из усыпления выводит
Глас, общий глас, вещатель общих дум,
И звучный отзыв в ней находит,
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.**

У потомков же, к которым предусмотрительно апеллирует наш "вещатель общих дум", будет своих дел по горло — им будет не до Евгения Евтушенко!

А з: Я думаю, что мы все же преждевременно хороним Евтушенко: пока человек жив — он не мертв, и торопиться с похоронами не следует. Есть старинный воспитательный прием — налагать на человека молчание именно тогда, когда он как раз больше всего хочет говорить: "Наложи дверь и замки на уста твои... растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, дабы взвешивать на них твое слово, и выковать надежную узду, которая держала бы твои уста". О том же пушкинский "Пророк": "И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый..." Есть операции, на которые надо уметь решиться — от них зависит самое существование поэта. Читатель отхлынул от поэзии, оставив Евгения Евтушенко наедине с самим собой — без читателя. Почувствовал ли драматизм этой ситуации экс-кумир нации?

Разве в одном Евтушенко здесь дело? Читатель в хрущевскую пору возложил на литературу слишком много обязанностей, поверил в ее всемогущество, а потом разочаровал-

ся в ней. И резонанс ее сократился до минимума. И Евтушенко, для которого читатель — основной, если не единственный двигатель и стимулятор, пострадал при этой метаморфозе более других. Но разве в одной литературе здесь дело? А общество? Еще неизвестно, как бы все повернулось, если бы не Малый Октябрь 1964 года...

Б у к и : Я думаю, что искусственный прерыв хрущевской либеральной эпохи скорее продлил на несколько лет наши иллюзии, в том числе и относительно всенародного нашего барда — оттянул его саморазоблачение. А что касается резонанса от литературы, то теперешний сократившийся — более естествен, чем прежний гипертрофированный. Замечательно в подобной ситуации сто лет назад размышлял Гончаров: "Круг образованных и серьезно подготовленных для общественной деятельности людей расширился — и беллетристы выделились из этого круга, как выделяются специалисты всякого дела, и составили особый, всегда почетный, но уже не во главе всей интеллигенции стоящий кружок. Иначе и быть не может. Осудить толпу смотреть на мир и образы сквозь призму искусства и отдаваться послушно в команду художникам, хотя бы и творцам, значит обрекать общество на вечное юношество". И еще резче — на полях рукописи: "Осудить на беллетристику — значит осудить на вечную незрелость и детскость". Так что и популярность Евгения Евтушенко можно в значительной степени объяснить инфантильностью нашего только что проснувшегося от тридцатилетнего летаргического сна общества. Что же касается "узды" и немотства, то вряд ли Евтушенко способен на такое "молчание вслух": "Поехать бы в себя, да дальняя дорога".

А з : Я говорю о другом молчании. Когда у маркиза де Кюстина в одном из русских домов спросили, почему более не пишет госпожа де Жирарден, маркиз объяснил: "Она поэтесса, а для поэтов молчание также творчество".

Б у к и : Для поэтов — несомненно. Мы же вынуждены были, говоря про Евтушенко, выйти за пределы литературы. Ибо бывают периоды, когда поэзии не хватает слов — она хватается за веревку колокола, выбегает на площадь, кричит, гри-

масничает, бьет себя в грудь. Под таким натиском поэзия, естественно, отступает. Иначе говоря, бывают времена, когда поэзии как бы нужны загульные дни, после которых, как правило, наступает тяжкое похмелье. И надо ли искать объективность, заменяя ею истину? Увы, все и так ясно.

**"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"LA PEIMSEE RUSSE"**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*



А. Б. ИОШУА

БОЛЬ ПИСАТЕЛЯ

заметки об израильской литературе

ИСТОКИ

Многие, не знакомые с израильской литературой, считают ее чем-то возвышенным и романтическим. Своего рода "Экзодус" в бесчисленных томах. Возможно, это произошло потому, что за последнее десятилетие сама тема — Израиль — стала неким бестселлером: Шин-Бет, террористы, нефть, политические интриги... Однако никто при этом не задумывается, что подобная литература не имеет ничего общего с самими израильскими писателями.

"Знатоки" иного толка заявляют, что израильская литература — это конгломерат литератур, культур, традиций.

Разумеется, было бы наивным полагать, что за тридцать лет существования государства может быть создана своя самобытная литература. Я думаю, гораздо правильнее называть современную израильскую литературу литературой ивритской, и является она интегральной частью мировой еврейской культуры.

В еврейской культуре ивритская литература стоит особняком. Она не может похвастаться древней историей и явно выглядит младенцем по сравнению с литературой русской, с ее Кантемиром, Державиным, Пушкиным, Толстым. И все же, несмотря на молодость, традиции ивритской литературы необыкновенно сильны. Связь поколений неразрывна.

Ивритская литература родилась во второй половине 19-го столетия, и одним из наиболее интересных явлений, характеризующих начальный период ее развития, было почти полное отсутствие читателей. Иврит был языком молитв, но не общения.

Россия дала этой литературе ее первых классиков — Бялик, Черняховский, Фришман, за ними Бараш, Бренер, Гнесин, Беркович. Ее тема в то время — Диаспора.

Другая характерная черта ивритской литературы в период ее рождения — это союз с сионизмом, который, несомненно, был одним из главных стимулов ее развития.

Не успев пустить корни в России, литература очень скоро перемещается в Эрец-Исраэль, где живут ее первые читатели и ценители.

Вслед за экспортом литературы идет миграция самих писателей, которым начинает казаться, что они никогда не жили вне Палестины. Это удивительный и, по-моему, единственный пример в истории культурной жизни еврейского народа, так как многие другие духовные ценности он создавал и развивал в Галуте.

Обосновавшись в Израиле, ивритская литература остается в нем навсегда. Незначительный "импорт" литературы назад, в Галут, никогда не превратился в "импорт" самих писателей. Это положение не изменилось до сегодняшнего дня.

В Палестине, где в 1932 году живет всего 174 тысячи евреев, литературная жизнь бурлит. Местное население принимает и литературу и писателей с восторгом и восхищением необыкновенным. И это не просто духовная связь. Это народная любовь с первого взгляда — уникальная в своем роде. Каждый шофер Эгеда* не только знает, где живет Бялик, он помнит

*Автобусный кооператив.

многие стихи наизусть. Популярность писателей не имеет себе равных. Это самые почетные и уважаемые граждане страны. Примера такой связи писателя с читателем не знает мировая литература.

Далеко не все было розовым в Палестине того времени. Постоянные стычки с арабами, безработица, политические распри среди руководителей ишува. Литература была предельно реалистична, тревожна, иногда пессимистична. И все-таки в ней всегда чувствовалась радость возвращения, воссоединения с землей. Я бы назвал этот период в истории ивритской литературы — периодом Ренессанса, который неразрывно связан с периодом Ренессанса в истории евреев.

С первого дня своего существования ивритская литература — это литература светская, антиклерикальная. Уже в зародыше она направлена против традиционного иудаизма, где в центре человеческой жизни только Бог, а задачей евреев было служение и повиновение ему. Сионизм с самого начала был движением, в центре которого безраздельно стоял Человек. Известно, что традиционный иудаизм готов просидеть в Диаспоре до Страшного Суда. Безусловно, каждый из нас тащит за собой и в себе двухтысячелетний груз изгнания. Но этот груз давит на нас, сабр, гораздо меньше, чем на приехавших и приезжающих из Диаспоры. Антисемитизм ассоциируется у нас гораздо больше с ненавистью к государству, чем конкретно к людям.

Религия, еврейские традиции, еврейский образ жизни в наших глазах больше не являются единственно необходимыми факторами объединения и сохранения народа и потому не могут быть темой произведений израильских писателей — свободных граждан свободной страны. Немало религиозных людей можно встретить среди преподавателей университетов, политиков, профессиональных военных. Среди писателей их нет. Исключением был Агнон, может быть, самый большой мастер, но единственный среди нас, сумевший найти точку соприкосновения между религией и литературой.

ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТА

Нынешнее поколение писателей продолжает традиции ивритской литературы, как их продолжали все предшествующие поколения, однако израильскую литературу, ставшую, в определенной степени, интегральной частью литературы мировой, отличают несколько характерных особенностей.

Прежде всего — это ее принадлежность своей стране и ее читателям-израильтянам. В шестидесяти процентах произведений современной французской литературы можно спокойно сменить французские имена героев на норвежские, можно перенести место событий из Парижа в Осло. Правда, найдется уйма знатоков и ценителей, которые с пеной у рта будут доказывать, что эти произведения основаны исключительно на французской культуре и что — идиотизм переносить место событий из Парижа в Осло. Но с ними можно спорить и, по всей вероятности, если не Осло, то их можно все-таки склонить на Брюссель.

Израильская литература, несмотря на широту интересов, не стала интернациональной, не ассимилировалась, подобно европейской. Особое положение государства в мире "локализует" и обособляет ее, как когда-то религия обособляла еврейский народ. Я нередко чувствую, как израильская литература пробует бороться с этим, обрести больший космополитизм. Пытается забыть набившие оскомину национальные проблемы (сегодня гораздо больше израильские, чем еврейские), уйти от них. Ничего не выходит. И если кто-то из нас хочет показать израильтянина, живущего лишь интересами мира, он вынужден убрать его из страны и поселить где-нибудь в Лос-Анджелесе или Амстердаме. Но тогда и герой теряет связь с народом, и ивритские имена можно спокойно заменить французскими.

Другая отличительная черта израильской литературы — ее отношение к вопросу существования страны. Эту тему я называю Конфликтом. Но она не ограничивается только конфликтом с арабами и политической борьбой внутри страны.

Конфликт — это отношение к Израилю всего окружающего мира, наше отношение к нему. Друзья и Враги. Формирование

личности в условиях Конфликта. Психологическое давление на нее. Нас волнует, как сохранить свою индивидуальность в рамках государства. Как выжить. И писатель, разумеется, катализатор всех переживаний.

Проблема Конфликта напоминает то, что было принято называть еврейской проблемой. Но параллель провести нельзя. В Израиле изучению этой проблемы не посвящают жизнь. Она не отнимает все время. И хоть она, как туман, обволакивает произведения наших писателей, проблема эта не маячит тенью, от которой нельзя избавиться. Тем не менее, Конфликт заслоняет собой слишком много актуальных проблем, которые израильская литература обходит почти полным молчанием. Кроме того, сказывается тяга евреев вечно заниматься глубинными проблемами человека. Видимо, во многих из нас живет желание написать еще одну Библию.

Писатель отражает жизнь общества, и мы видим общество через призму писателя. И если он видит окружающий его мир сквозь воспоминания боя, в котором он участвовал и потерял друга или брата, чтобы после боя опять быть в центре Конфликта — нельзя сказать ему: "Пиши о социальном неравенстве или о проблемах алии". Видимо, пока все, кроме Конфликта — второстепенно и не затрагивает глубин человеческой души. Я, как и все, надеюсь на мир и на то, что тогда все изменится. Ведь для Израиля это не просто мир в привычном понимании этого слова. Это просто новая жизнь. Это то, чего никогда не было.

ПИСАТЕЛЬ И ВЛАСТЬ

Израильская литература, несмотря на свою приверженность определенным темам, абсолютно чужда идеологическим догмам. Искусство слишком либерально, гуманно и широко. Писатель — символ свободы духа. Неисправимый индивидуалист, он не может подчиниться навязанным кем-то нормам и правилам. Его жизнь и взгляды — в его произведениях.

В писательской среде считалось и по сей день считается малоприличным принадлежность к какой бы то ни было партии.

Перед выборами все усердно скрывали, кто за кого голосует. Это делалось так старательно, что иной раз походило на детскую игру.

Известно, что большинство израильских писателей по своим взглядам принадлежит к центру левого движения, разделяя мировоззрение МАПАЯ, реже МАПАМа*. Исключением из этого правила можно считать одного из лучших израильских писателей — Моше Шамира, который в свое время был крайне левым, даже среди членов МАПАМа, и считал Сталина одним из своих идеологических вождей. Когда большинство писателей, сочувствовавших МАПАМу, порвали с ним, предпочитая более умеренный МАПАЙ, Шамир с пеной у рта продолжал защищать свои взгляды. Я не знаю, когда и как Моше Шамир так поправел. Смешно наблюдать сегодня, как левейший социалист становится большим националистом, чем сам Бегин, которого он не раз предавал анафеме. Видимо, Шамиру вообще свойствен экстремизм, хотя мне и не понятна такая полярированность в изменении взглядов писателя, мировоззрение которого обычно складывается к тридцати годам и, обрстая жизненным опытом, не меняется до самой смерти.

Даже в Израиле, где события развиваются и сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой, личность писателя, его психология гораздо меньше подвержена внешнему давлению, чем психология общества. Писатель зачастую находится в плену своих взглядов. Нередко ему не под силу тягаться с динамикой сегодняшней израильской действительности. Может быть, этим и объясняется его тоска по прошлому, в условиях Израиля, относительно размеренному и почти уютному. Именно этим и объясняется волна ностальгии, захлестнувшая нашу литературу после Шестидневной войны. Появилось бесчисленное количество книг о конце сороковых и пятидесятых годов. Средний возраст авторов был немногим более сорока. Эта волна захватила и тех, кто до этого жил настоящим и будущим. Амос Оз, Ицхак Бене, Бен-Эзер и другие, до

*МАПАЙ — Израильская партия труда (ныне партия Авода), МАПАМ — Израильская объединенная рабочая партия.

1967 года писавшие "up to date", вдруг вернулись к тому, что происходило двадцать лет назад. Прошлое шло нарасхват среди читателей всех взглядов и возрастов.

Сегодня эта волна идет на убыль, но до настоящего отлива еще далеко. Война 1967 года слишком сильно повлияла и изменила психологию израильтян. Провинциальное, маленькое государство вдруг становится темой номер один, оно пестрит в заголовках газет всего света. Мир из сочувствующего и жалующего неожиданно становится враждебным. Основы вечной правоты осажденного народа рушатся. Из осаждаемых мы превратились в осаждающих, мы заразились самоуверенностью, не имевшей ничего общего с национальной гордостью. Упоенным лаврами победы, нам захотелось поиграть в усталых ветеранов: "Давай-ка вспомним"... Это было гораздо легче, чем мгновенно осознать, что же происходит на самом деле.

Лучшим доказательством изменения психологии израильтянина служит всколыхнувший всю страну скандал по поводу запрета, вернее, попытки запрета телевизионного фильма по рассказу Изхара "Хирбат Хиза".

Опубликованный четверть века назад рассказ этот был одним из многих о войне 1948 года. Будучи включен в школьную программу, он был прочитан всей страной, ни в ком не вызвав особого душевного волнения. Все слишком хорошо знали, что хорошо и что плохо. Основы правоты были настолько прочны, что факт изгнания несопротивляющихся арабов из какой-то деревни не мог их поколебать. Было пролито так много еврейской крови, что отрицательные стороны арабов принимались заранее. Совесть соглашалась с тем, что где-то можно было и перегнуть. К тому же, если кому-то и приходила в голову мысль, что арабы, живущие в Палестине, имеют на нее такое же право, как и евреи, то безопасность детей отметала любое желание экспериментировать.

Сегодня картина изменилась. Территории, захваченные более десяти лет назад для того, чтобы выжить, уже официально называют "оккупированными" или "удерживаемыми". Уверенность в незыблемости морали, дающей право на управление миллионом с лишним арабов, дала трещину. Все, что не

помогает эту трещину замаскировать, принимается властью в штыхы.

В демократическом обществе нередко возникают подобные споры между властью имущими и интеллектуалами. Первые талдычат о гражданской ответственности (оставь немного — но оставь — мусор в избе!), вторые неустанно утверждают, что, вуалируя ошибки и промахи, мы топчемся на месте.

Я искренне рад, что победителями в Израиле выходят вторые. Как мы знаем, Управление телевидения решило временно запретить экранизацию "Хирбат Хиза". Это решение поддержал министр культуры Хамер, но после вмешательства прессы фильм был показан.

Писатель в силу своего характера и психологии чувствителен к недостаткам гораздо больше рядового гражданина. Его боль сильнее, в ней как бы воплощена боль всего народа. И если он настоящий писатель, он не пишет о розовом, а пишет о сером и черном. Потому что это мешает ему жить, и в этом проявляется его желание видеть свой народ идеальным. Так было. И так будет. Всегда. Пока будут Писатели. Даже если не станет Литературы.

Но вернемся к традициям ивритской литературы. С первого дня своего существования она была безжалостной по отношению к народу. Она жалила его, издевалась, высмеивала, била наотмашь, выворачивала наизнанку. Достаточно почитать Азаза, Агнона, чтобы прийти к выводу, что "Хирбат Хиза" не идет ни в какое сравнение с силой разоблачения, звучащей в их произведениях. Ивритская литература была, как снайпер, выжидающий любое неосторожное движение общества. И это относится к писателям всех периодов и всех течений. Столетие назад направленная против вековой спячки, она оставалась воинственной, непримиримой и бескомпромиссной. Бялик, оплакивая Кишиневский погром, исполнен презрения к народу не способному пошевелить пальцем ради собственной защиты. А рассказ Менделе "Нищие", после которого кажется, что евреи — это кучка мошенников. В рассказе Азаза, написанном в 1942 году, евреи показаны, как стадо баранов, покорно бредущих на заклатие, не испытывая не только желаний, но и потребности сопротивляться. И это на-

писано в то время, когда мир проливает крокодиловы слезы по поводу избиения нации. Напиши это какой-нибудь русский писатель, его незамедлительно объявили бы отпетым анти-семитом.

Отношение народа к писателю было также своеобразным. Признав его своего рода верховным судьей, народ чуть ли не целует руки, бичующие его, соглашаясь со справедливостью наказания.

Но и тут произошли перемены. Реакция на критику изменилась и прежде всего потому, что у многих появилось чувство собственной грандиозности, которое нередко путают с чувством национального достоинства. "Смотрите, мол, какие мы сильные. Мы разбили сто миллионов арабов. У нас лучшие в мире летчики. Садат едет к нам в Иерусалим. Америка чуть ли не в прислугах у нас. Мы такие великие, а какая-то Моська осмеливается лаять".

Слава ослепляет. С "Хирбат Хиза" дело просто дошло до абсурда. Четверть века назад рассказ включают в школьную программу, 30-летнего писателя ночь напролет убеждают стать членом Кнесета. Он им становится. И остается в течение семнадцати (!) лет. И все кричат во все горло: "Смотрите, писатель Изхар, мыслитель, обличитель, а не какой-то там политический интриган, член нашего Кнесета".

И вдруг, через 25 лет, та же Голда Меир, которая голосовала за избрание Изхара в Кнесет, выступает против публичного показа телефильма по его рассказу. Такой подход говорит только о бюрократической тупости политических "цадиков": они всегда правы и никогда не ошибаются. Парадоксы этой тупости иногда просто обескураживают. С одной стороны, отменять фильм, где жертвами показаны не мы, а с другой — позволять оголтелую антиизраильскую пропаганду РАКАХа с трибуны Кнесета. Почему-то не задумываются над тем, что именно повседневная опасность, грозящая государству, обязывает к постоянной критике.

Каждому, кто рвется к власти или уже достиг ее, свойственны тоталитарные мысли, тяга навязать свое мнение. Так происходит везде. Вне зависимости от подданства и нацио-

нальности. Но боязнь критики только указывает на внутреннюю неуверенность в своей правоте. Я надеюсь, что победа в деле с "Хирбат Хиза" будет хорошим уроком нашим цадикам. Поговорка "не смотри только в зеркало, смотри в окно" не всегда оправдывает себя. У израильтян хватает проблем, и если плюс к ним, кто-то пытается лишить страну свободы мысли и слова, она просто перестанет существовать. И тогда ежегодное (а то и реже) паломничество на землю предков вновь станет вполне достаточным, чтобы ощутить себя евреем. Но не израильтянином.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

Израильская литература объединяет три поколения писателей.

Поколение войны 1948 года — это Изхар, Мегед, Шахам, Гури и другие. Как социальная группа они как бы находятся в одной ячейке. Это в общем одна политическая фракция. Взгляды и мировоззрение большинства из них не претерпели никаких изменений до сегодняшнего дня. Это дети выходцев из Восточной Европы — в основном из России — активистов Второй и Третьей алии. Большинство из них родились в стране. Как и их родители, которые были членами рабочего сионистского движения, они воспитанники молодежных сионистских организаций с той же идеологической окраской. Период их формирования — тридцатые-сороковые годы. Соответственно, их основные темы — построение государства, проблема Коллектива. Коллектив превалирует над всем. Специфика этого Коллектива — его идеология. Страна в те годы напоминала один большой лагерь поселенцев. Основная деятельность была так или иначе связана с поселениями-кибуцами. Кибуц олицетворял мечту об идеальном государстве вечно гонимого народа. Все вместе, все для всех.

Итак, идеология поколения войны за Освобождение — социализм. Несмотря на то, что прошло столько лет и столько изменилось, это поколение занято теми же вопросами. Все, правда, приобрело другую окраску. Герой Аарона Мегеда

в его последней книге-выходец из Европы, участник Третьей алии. Сегодня он оторван от современной жизни, разводит пчел и слушает Баха. Его сын выброшен из армии. Герой растерян, не может найти себя. Общество, окружающее его, чуждо ему. Привычных духовных ценностей больше нет.

Шахам пишет о кибуцнике, который позволил себе переспать с немкой-туристкой, работающей в кибуце. Галь Мосензон рассказывает о кибуцнике-пастухе. Пастух хочет стать художником. Впав в депрессию от нежелания коллектива считаться с личностью, он продает кибуцное стадо, чтобы купить холст и краски.

Цепи Коллектива так крепко опутали и сковали это поколение, что надежда на освобождение тут почти нереальна.

Мое поколение — те, кого называют поколением государства, с самого начала обособило, отделило себя. Мы были — упрямый и дружный антиКоллектив. Нас гораздо больше интересовали общечеловеческие проблемы. Мы были более космополитичны. События моих первых произведений могли происходить в любой точке земного шара, где есть люди. Желание сломать старые догмы, убрать из центра внимания Коллектив, было настолько сильным, что первые произведения моих сверстников вообще не имели ничего общего с окружающей реальностью.

Аллергия к Коллективу объяснялась тем, что в течение всей нашей молодости он окружал нас на каждом шагу. Работа в кибуцах, молодежное движение, куда ни сунься — везде одно и то же. От коллектива нельзя было избавиться, его вечное присутствие становилось навязчивым, и именно поэтому его больше нельзя было выдержать.

Герои Амоса Оза тех времен (Амоса Оза, который сам был кибуцником) — упрямые индивидуалисты, отличающиеся от других упорным желанием иметь свою собственную точку зрения. Они в постоянном конфликте с Коллективом, который отвергает их так же, как и они его.

Парадоксально, что именно мы подняли восстание против идеалов и интересов, которыми были вскормлены. Но это не было предательством. Мы рвались открыть и познать большой

мир. Это была беспощадная война против устаревшей психологии, взглядов, жизненных концепций. Хочет ли молодой израильтянин переспать с туристкой из Германии или нет, для нас вообще не была проблемой, ради которой нужно писать и копаться в ней на протяжении целой книги. Нас раздражало это поколение, продолжающее жить несуществующим больше Израилем. Даже тема Катастрофы еврейского народа их не интересовала. Ни один из них даже не коснулся ее.

Война поколений протекала в виде бурных дискуссий, убийственной критики в газетах и журналах. Предыдущее поколение боялось того нового, что мы несли, боялось быть отодвинутыми на второй план, остаться в тени. Сегодня наступило затишье, но вспышки взаимных обвинений еще не угаšli.

Битва была нами выиграна, и думаю, что именно книги, написанные моим поколением, наиболее читабельны сегодня в Израиле.

Вслед за нами появилось поколение, которое я бы назвал поколением Шестидневной войны. Мне трудно пока определить, кто они, эти новые писатели. И меня очень беспокоит, что в течение десятилетия они не дали стране ни одного настоящего мастера. Появились новые таланты в поэзии. Очень способная молодежь в кино и телевидении. В прозе пусто. Это поколение сыновей не восстает ни против отцов, ни против дедов. Оно их просто игнорирует. Никого не обвиняет, никого не защищает и держится особняком. Его основное занятие — самокопание и исследование собственных комплексов. У меня такое чувство, что они живут вне окружающего их мира. Он просто не интересуется их. Не знаю, может быть, в этом поколении эгоизм заменил индивидуализм.

Мои друзья, зарубежные писатели не раз говорили с завистью, что Израиль перенасыщен темами. Страна бурлит. Она населена народом, который всегда отличался желанием понять себя в окружающем мире и окружающий мир в себе. Чем же объяснить такой мертвый сезон? Создается впечатление, что поколение не до конца изучило себя и из-за этого находится в состоянии какой-то духовной депрессии. Я верю,

что этот заколдованный круг скоро прорвется. Должен прорваться.

Пока что все три поколения продолжают существовать и работать независимо друг от друга. Единственное, что нас связывает, — это желание совершенствовать ивритскую литературу. Мы все обеспокоены тем, что телевидение и кино становятся единственными культурными ценностями современного человека. Мы просто хотим, чтобы народ Книги больше читал, хотя израильские писатели пока не могут жаловаться на недостаток читателей.

Наше положение гораздо лучше многих зарубежных авторов. Я сужу по тиражам и количеству новых книг, которые появляются чуть ли не каждый день. Издательства процветают, а израильские издатели отнюдь не филантропы. Сборники новых поэтов печатаются тиражом в 1500 экземпляров. Это не намного меньше, чем в США. За год было продано 25 тысяч экземпляров моей новой книги. Это около 300 тысяч читателей. Пропорционально Америке — это больше двух миллионов, случай из ряда вон выходящий.

Нужно признать, к сожалению, что настоящая литература всегда принадлежала меньшинству. Во Франции, в стране такой глубокой и интересной культуры, половина населения не читает книг. Я думаю, что по меньшей мере треть израильтян не читает ничего, кроме газет, да и вообще не является потребителем культуры. Еще полмиллиона читает только переводную литературу. Магазины, специализирующиеся на продаже книг на немецком, французском и английском языках, преуспевают. Масса людей, приехавших и приезжающих в страну из западных стран, прекрасно владеет разговорным ивритом. Но, прожив в Израиле даже пятьдесят лет, человек предпочитает читать на своем родном языке или любом из европейских, которым он владеет. Я надеюсь, что если идея, в борьбе за осуществление которой я принимаю самое деятельное участие, идея введения в иврит гласных станет действительностью, количество читателей резко увеличится.

Но дело не только в количестве читателей, теперь, как и раньше, писатель не может содержать себя и свою семью

творчеством. Обычно он вынужден заниматься побочной работой. Или, вернее, писать — это побочное занятие, кроме преподавания в университете, журналистики и куда менее интеллектуальных занятий. Писатель пользуется уважением общества, но сегодня, когда на вопрос: "Кто он?", следует ответ: "Писатель", в продолжительно-многозначительном "А-а-а..."слишком уж часто сквозит вечная ирония сытого.

Пусть сорок лет назад читали больше. Меня гораздо серьезнее волнует качество израильского писателя, а не его количество. Я чужд ностальгии, и моя единственная тоска по прошлому — это желание вновь почувствовать ту духовную связь писателя с читателем, которая была в Израиле. Я хочу верить, что это время вернется.

Подготовил к печати и перевел с иврита Даниэль МАЗИН

'КОСЫЕ ПАДЕЖИ' и 'ПУТЬ ЗАРИ'

(вышедшие в 1977 году в Иерусалиме)

Сборники стихотворений

Леонида ИОФФЕ

Можно заказать из-за границы по адресу:

**L. Yaffe, Hagana st. 2/18
French Hill, Ierusalem,
ISRAEL**

Стоимость сборника "Путь зари" — 2,5 доллара,
а обеих книг вместе — 4 доллара (при отправке морем).



Михаил ДЕМИН

БЛАТНОЙ

КОРОЛЕВА И ЕЕ ДРУЗЬЯ

Однажды в Грозном я жестоко простудился и слег с тяжелым гриппом. Приютила меня хозяйка воровской "малины" по кличке Королева Марго, с которой я познакомился еще в Ростове. Я провалялся в постели, в жару, две недели. За это время я успел приглядеться к Марго и слегка разобраться в ее делах.

Дела у нее были большие и самые разные. Марго, как оказалось, возглавляла не только известный мне ростовский притон. Она входила в солидную корпорацию — была там чем-то вроде члена правления. Корпорация эта охватывала почти все города Северного Кавказа; ей принадлежали десятки подпольных увеселительных заведений.

Занималась Марго и другим прибыльным бизнесом: перепродажей ворованных "темных" вещей, а также документов. Именно это последнее обстоятельство и привело ее теперь в город Грозный, в столицу Чечено-Ингушетии.

copyright Михаила Демина

Окончание. Начало см. в 27 номере.

События, о которых я рассказываю, происходили в 1946 году — вскоре после того, как была по приказу Сталина ликвидирована эта небольшая республика. Как и в эпоху вавилонского пленения, шли по горным дорогам люди, нагруженные скарбом, мычал, разбредаясь скот, плакали дети в ночи. Все было, как в баснословной древности. Только конвой, подгоняющий народ, одет был в красноармейские шинели. И над грозненским обкомом партии трепыхался кумачовый советский флаг — флаг, олицетворяющий народное государство и самую справедливую в мире власть.

Людей согнали к железнодорожному полотну, погрузили в товарные составы и отправили на поселение в Среднюю Азию, за Урал и в Сибирь. Операция эта проведена была довольно ловко, со знанием дела. Территорию республики очистили в короткий срок.

Очистили быстро, но все же не полностью. Дело в том, что высылке подлежали не все жители этой гористой республики, а только ингуши и чечены, только те, у кого были определенные паспорта.

Некоторые из них сумели укрыться во время облавы, спастись от нее. Иные бежали с этапа и тайно вернулись в родные места. И всем им теперь необходимо было обзавестись новыми бумагами.

Неожиданный спрос породил ответное предложение: мгновенно возник черный рынок, снабжающий население всякого рода "ксивами" — паспортами, справками, метрическими свидетельствами и удостоверениями личности.

В Грозный и в соседние города съехались фармазоны, фальшивомонетчики и мошенники всех мастей и разрядов. Больше всего было здесь специалистов из Ленинграда и Одессы. С одесситами, в основном, и держала контакт Королева Марго. Она ведь и сама была родом из Одессы — из этого русского Марселя. Выросла там в портовых кабаках и прошла хорошую школу.

Марго была старше меня на семнадцать лет и помнила еще классическую воровскую Одессу — Одессу Мишки Япон-

чика, Семки Рабиновича и Соньки Золотой Ручки, мир контрабандистов и портовых жиганов, дерзких налетчиков и рыцарей Молдаванки.

Ее частенько посещали старые друзья. Приходил некто Марк, тщедушный и юркий, с аккуратно подстриженными усиками над тонким, безгубым ртом. Он постоянно хихикал и поеживался и мелким, нервным движением потирал ладонь о ладонь. Марк подолгу беседовал с Марго, предавался воспоминаниям... Они знали друг друга с детства, росли на Черноморской в одном доме и с умилением, с элегической грустью вспоминали ранние свои годы.

— Твоя покойная мамаша, Марго, — говорил он, вздыхая и ерзя на стуле, — была умная женщина. Нынче таких нет и больше уже наверняка не будет... Не помню, в каком — дай Бог сообразить — кажется, в двадцать восьмом году, когда я получил первый приличный гонорар за аферу с товарными накладными, она сказала:

— Марк, мое старое сердце радуется, глядя на молодежь. Все вы помаленьку выходите в люди. Давно ли вы с Марго дрались из-за горшка и бегали, размазывая по улицам сопли? А вот сейчас ты уже — уважаемый человек. И девочка моя тоже хорошо устроена; я видела, в каком белье она ходит! Такого белья нет даже у жены итальянского консула.

Нередко вместе с Марком приходили братья Новицкие — известные граверы, специалисты по изготовлению печатей. Тогда в доме становилось шумно. Новицкие были люди веселые.

С ними у меня случился однажды забавный разговор.

Помню, я дремал. И был разбужен рокотом голосов. Братья толковали, как я понял, о паспортном режиме, о внутренней политике государства. Я слушал их некоторое время, а потом сказал:

— Вы мне вот что объясните: здешняя республика еще недавно находилась как бы на осадном положении, была наводнена войсками МВД. Да и сейчас еще тут полно чекистов. Почему же власти не трогают нас, уголовников, не мешают нам ни в чем? Как это понять?

— Очень просто, — сказал Аркадий, — охраной порядка занимается здесь не столько милиция, сколько военная комендатура. А ей уголовники не интересны. Ей ингуши интересны. Вообще, политические враги.

— Но какие же враги — ингуши? — усомнился я, — дети гор, что они понимают в политике?

— Они-то, может, не понимают. Зато МВД все понимает отлично!

— А кстати, в чем они провинились? За что их?

— Черт их знает, — проворчал Яков. И почесал кудлатую свою рыжую бороду, — разве поймешь? Да это и неважно. В Партии ведь блатные порядки. Если кого обвинили, — он должен тут же оправдаться... Не сумел, значит — враг!

— У Сталина есть одно высказывание, — подхватил Аркадий, — не помню уж точно, как там. Что-то вроде того, что, "если бы мы придерживались своих законов так же, как и блатные, мы бы давно уже достигли коммунизма".

Аркадий взял с пола гитару. Лениво ущипнул струну. Потом, под тягучий звон ее, проговорил усмешливо:

— Вообще, если вдуматься, Сталин — он кто? Он ведь самый настоящий уголовник. Такой же, как и все мы.

— Как мы? — с обидой возразил Яков, — нет уж, извини. Я не согласен! Мы — все-таки интеллигенция. А он, судя по всему, обыкновенный авлабарский блатарь...

Был в компании Марго Костя Граф — высокий, дородный и совершенно лысый. Сын галицийского портного, он выдавал себя за шляхтича, за польского аристократа, и, надо сказать, это ему удавалось вполне. Лощеный, надушенный, всегда отлично одетый, Костя производил внушительное впечатление. Вообще это был деятель крупного масштаба — ученик легендарного Рабиновича, один из последних представителей вымирающего племени кукольников и аферистов.

Было интересно слушать, как он и Марго разговаривали, перебирая имена былых друзей и знакомых и помяная своих учителей.

Потягивая кислое вино и дымя сигареткой, вправленной

в длинный янтарный мундштук, Граф говорил, слегка гнуса-вя и небрежно растягивая гласные:

— Ах, душа моя, как быстро, как стремительно бежит время. Страшно подумать — ведь почти никого уже не осталось... А какие были люди, Боже ты мой! Какое общество собиралось на Дерибасовской, в Ланжероне, на Пушкинской — ну, помнишь, где я впервые с тобой познакомился, — обращался он к Марго. — Какое изысканное общество! Сема, Сонечка, Коля Грек. Бывали, конечно, и другие — Япончик, например. Но я, признаться, Мишу не любил за грубость. Я ценю интеллект, блеск, остроумие. Сейчас это все — дефицит. А тогда... Ты, между прочим, настоящей Одессы почти уже не застала, при тебе она начала мельчать. Но все-таки еще были люди! Кончаются, уходят последние аристократы. Кстати, в тридцать втором, на Беломор-канале, на Войтинском участке, я встретил своего учителя, Сему Рабиновича. Мать Божья, во что превратили человека! Он, знаешь, совсем доходил тогда — худой был, оборванный, глаза слезятся, руки дрожат. Это знаменитые Семины руки! Руки гениального мастырщика! И теперь ты скажи мне: как после всего этого жить на свете?

Граф умолкал на мгновение, томно прихлебывал вино. И затем продолжал уже другим, суховатым тоном:

— Но жить все-таки надо... А посему, моя прелесть, давайте перейдем к делу.

В сущности, дело, которым здесь занималась Марго, было крайне простым. Она поставляла аферистам различные документы, которые скупала у местных карманников.

Регулярно, по субботам, ее навещала пожилая благообразная дама с хозяйственной сумкой; туго набитая, эта объемистая сумка содержала в себе недельную добычу ширмачей.

На Марго работало несколько блатных артелей — не только в Грозном, но и в Махачкале и в Орджоникидзе. Платила она по твердой таксе (чистый, новенький паспорт стоил триста рублей, потрепанный — вполовину меньше; профсоюзные билеты и всяческие удостоверения котировались от полутора до двух с половиной сотен).

Время от времени в дом к Марго наведывался смуглый, худой, горбоносый мужчина — не то грек, не то цыган — по прозвищу Копченый. Он тоже был давним ее приятелем. Но где и когда они познакомились, и откуда он родом — этого я так и не смог понять. Во всяком случае, одесситом Копченый не был. Он не терпел пустой болтовни, не любил предаваться сентиментальным воспоминаниям. Молчаливый и сдержанный, он, являясь, садился к столу и, посвистывая и щурясь, по долгу рылся в документах, шуршал ими, разглядывал на свет.

Отобрав то, что нужно, и упрятав ксивы в портфель, Копченый уходил, оставляя Марго толстую пачку денег. Расплачивался он всегда щедро, не торгуясь, давал гораздо больше, чем другие.

Марго упрашивала его посидеть и выпить водочки. Как правило, Копченый отказывался — был занят, вечно куда-то спешил. Но как-то раз он все же уступил и остался выпить. И вот тогда мне показалось на мгновение, что я смогу о нем хоть что-то узнать.

Случайно, вскользь, Копченый упомянул о Бухаресте — оказывается, он там виделся с Марго еще в 1942 году.

— Ага, — подумал я, — румын, вот он кто.

Но тут же он, кривя жесткий свой рот, начал почем зря бранить этих самых румын.

Удивительное дело — из всех друзей Марго этот сумрачный человек заинтересовал меня сильнее всего: в нем угадывалась какая-то странная, не ясная для меня сила. Мы разговорились с Копченым, и я с удивлением узнал, что он — уроженец Новочеркасска.

— В таком случае, — сказал я, — ты должен был бы слышать о Денисове.

— Денисов? — он поднял брови. — Был, кажется, такой генерал.

— Главнокомандующий Донской белой армией, — уточнил я. — Так это мой родственник — со стороны матери.

— Родственник? — проговорил он удивленно, — занятно... Что же с ним произошло? Кокнули старичка?

— Да нет. Уберегся, бежал. Теперь за границей живет. Там, между прочим, почти вся моя новочеркасская родня.

— Где? В каком месте?

— Во Франции, вроде бы, в Париже.

— Ах, Париж! — протяжно, со всхлипом вздрогнула Марго, — ах, Париж... Город моей мечты. Завернуть бы туда на полгодика, взглянуть бы на настоящую жизнь...

— У тебя есть о них какие-нибудь сведения? — спросил Копченый деловито.

— До войны мать переписывалась с кем-то, не помню уж, с кем, с теткой, кажется. А потом, сам понимаешь. Война началась...

— Может, никого уж и не осталось, — сказала Марго.

— Ну, это вряд ли, — сухо усмехнулся Копченый, — бело-гвардейцы — народ живучий. Да и гестапо их не трогало, не преследовало. Скорее, наоборот.

— Как бы то ни было, — сказал я, — Франция далеко, и попасть туда трудно. Да что, трудно — невозможно.

— То есть как — невозможно? — отозвался Копченый, — ерунда. Все возможно.

Он помолчал в раздумье, постучал пальцами о край стола. Затем спросил сощурясь:

— Ты и в самом деле хотел бы уйти за рубеж?

— Конечно, — сказал я.

— Это серьезно?

— А ты, — задал я встречный вопрос, — ты со мной как говоришь — серьезно?

— Я, знаешь ли, вообще не шутник, — сказал он медленно.

— Послушай, а где ты вообще обретаешься?

— Да как тебе сказать, — затруднился Копченый. — Я, дружок, все время в разъездах. На днях вот должен побывать в Северной Осетии, в Орджоникидзе. Оттуда придется махнуть в Ростов, а потом — на Украину. Ну, а после, может быть, снова сюда заеду. Хотя в этом я не очень уверен...

— Но как же тебя разыскать? — спросил я, — может, ты мне еще понадобишься?

— Понадоблюсь?

Он пристально, исподлобья, посмотрел на меня:

— Насчет Парижа?

— Ну, допустим.

— Что ж, — протянул он, — если ты уж так решил... Ладно. Ты город Львов знаешь?

— Слышал, — сказал я, — кажется, он где-то в Западной Украине?

— Точно, — кивнул Копченый. — Самый западный из всех советских городов. Ну, так вот. Там у меня есть друзья. Обратись к ним, они сделают все, что нужно. Сейчас я тебе дам ксивенку.

Он быстро начертал что-то на вырванном из блокнота листке. Затем извлек из портфеля плотный белый конверт, вложил в него записку и заклеил тщательно.

— Но... Где же адрес? — удивился я, вертя в пальцах письмо.

— Адреса не надписывают, их запоминают, — наставительно проговорил Копченый, — усвой это правило накрепко!

И, цепко взяв меня за локоть, приказал:

— Слушай внимательно!

Он продиктовал мне адрес, назвал улицу, дом, имя того человека, к которому я должен буду обратиться. Заставил два раза повторить все это. И, наскоро простившись, ушел.

Он ушел, а я долго еще не мог заснуть в эту ночь. Я думал о своих парижских родственниках. Все, что связано было с Беляевскими и Денисовыми, казалось мне далеким, почти нереальным. Я припомнил вдруг все, о чем когда-то рассказывала мне мать. Я пытался увидеть их — и не мог. Перспектива завлакивалась зыбким туманом. В тумане этом маячили очертания Парижа: угадывался чужой, таинственный и мажущий мир. Каков он будет в действительности? — думал я, засыпая, — как примет меня? И что я там найду? Может, там меня, наконец, ждет отдых и избавление от скитаний. А может, все это, как мираж; протяни к нему руку — и видение испарится, развеется.

Вскоре мы с Марго покинули Грозный; перебрались ненадолго в Закавказье, побывали в Средней Азии, в Туркмении и Узбекистане, а затем отправились на Дальний Восток,

Эти поездки связаны были с моим ремеслом майданника. Но имелося и еще одно обстоятельство. Задумав побег из России (сроки здесь не имели принципиального значения — важна была идея), решив рано или поздно уйти за рубеж, я заразился вдруг странной сентиментальностью. Я колесил по дорогам страны, снедаемый тем смутным беспокойством, той щемящей грустью, которая обычно охватывает нас накануне разлуки с родными местами. В такой ситуации человек обретает как бы второе зрение, особое чутье, проникается болезненным и пристальным вниманием к мелочам. Все, что казалось ему раньше мелочным и пустячным — окрестный жиденький пейзаж, осколок луны в дорожной луже, скрип половицы в избе, — все становится вдруг ярким и значительным, насыщается новым смыслом.

И вот теперь мне хотелось вобрать в себя все это, запомнить и сберечь навечно.

Я разъезжал по Востоку, метался и тосковал и подолгу застревал на захолустных полустанках. И всюду меня сопровождала Марго.

Это была поистине деловая женщина! В каждом городе имелись у нее друзья, находились деловые партнеры. Стоило нам приехать — и тотчас же появлялось надежное жилье. Должен признаться, что никогда еще не кочевал я столь комфортно, с такими удобствами. И кстати, эта моя связь с Марго помогла мне по-настоящему осознать всю мощь и масштабность преступного подполья.

Уголовный мир существует, в принципе, всюду: любое общество делится на два пласта, на два слоя — внешний, видимый, и нелегальный, подземный.

Этот нелегальный пласт является как бы зеркальным отражением другого. Здесь, в глубине, имеется все то же, что и на поверхности. Здесь есть свои вельможи и свои плебеи, свои

правонарушители, свои блюстители правил, своя общественная жизнь.

Конечно, жизнь эта в каждой стране организована по-своему, в соответствии с местными традициями и укладом. Пожалуй, ближе всего к подземному миру России (насколько я теперь могу судить), находится итальянская мафия. Русских и итальянских уголовников в этом смысле роднит многое. Но все же есть и весьма существенное различие. Заключается оно, прежде всего, в том, что российский преступный мир (в отличие от итальянского) не имеет ни малейшего касательства к общественно-политическим делам страны. Он живет своей сокровенной жизнью, своими специфическими интересами. Для блатных внешний мир, в принципе, то же, что курятник — для хорьков и лисиц. Проблемы, потрясающие курятник, хорьку не интересны. Для него главное — проникнуть туда, полакомиться и вовремя унести ноги. Итальянская же мафия, насколько я могу судить, чувствует себя в курятнике, как дома. Она не только лакомится, но еще и распоряжается: кому где сидеть, кому какое зерно клевать.

Уголовный мир на Руси возник в незапамятные времена. В Петровскую эпоху под одной только Москвой (по официальным сведениям) насчитывалось более тридцати тысяч разбойников. Знамениты этим были, однако, не только крупные центры, но и мелкие, казалось бы, вовсе не значительные города. На этот счет есть немало поговорок. Вот, например: "Орел да Кромы — первые воры, а Елец — всем ворах отец". Блатные имелись во множестве, но были разобщены, орудовали отдельными шайками. Единая мощная организация возникла лишь в конце прошлого столетия. Особенно разрослась и упрочилась эта организация после революции, в годы НЭПа. К началу Отечественной войны она уже охватывала всю территорию государства (а ведь это — одна шестая часть света). После войны в блатной среде произошел раскол, началась смута, приведшая к жесточайшей резне. Российская мафия (я все же воспользуюсь этим словечком) помаленьку стала рушиться и хиреть.

Я соприкоснулся с ней в ту пору, когда процесс этот только еще начался, наметился. Внешне организация была сильна. Распад возник в лагерях, в застенках, а на воле пока еще было тихо тогда. Жизнь шла своим чередом. Подпольный мир выглядел незыблемым. И единый, общий для всех, кодекс морали еще действовал повсюду, в любой точке страны — от Финского залива до побережья Японского моря.

* * *

Во Львов я попал случайно, вернее, меня привела туда моя блатная жизнь. Однажды, в Одессе, после сильного запоя я завернул в закусочную и встретил там знакомую шпану. В основном это были карманники, трамвайные ширмачи. Они начали с утра, чуть свет, и сейчас подкреплялись перед работой. Левка Жид — длиннолицый, рыжий и разбитной — помахал мне издали рукой и широким жестом пригласил к своему столу.

— Садись, Чума, — сказал он, — есть разговор.

И затем, со свистом обсасывая куриное крылышко:

— Слушай, ты куда это запропастился? Тебя второй день ищут. По всей Одессе. С ног сбились.

— А на что я вам? В чем дело?

— Так ты не в курсе? — хохотнул Левка, — хорош, ну, хорош!

— Ладно, — сказал я, — ты — короче.

— Была всеобщая сходка.

— Так. И что же?

— Речь шла о том, кого послать на международную конференцию... Про это ты хоть знаешь что-нибудь?

Я знал кое-что, слышал давно, еще в бытность мою в Ростове. Солома, Чабан и другие старые урки частенько говорили о необходимости созыва такой конференции. Что-то они даже предпринимали тогда: рассылали письма, обсуждали организационные детали. Однако все это казалось мне несерьезным. И теперь я с удивлением узнал о том, что конференция эта — событие вполне реальное.

— Толковище продолжалось два дня, — рассказывал Левка, — шуму было, можешь себе представить! В общем, утвердили десять делегатов. В том числе и нас с тобой.

— За что ж такая честь? — усмехнулся я.

— Ну, меня решили послать потому, что я знаю языки, — пояснил Левка, — немецкий знаю, польский, еще по-английски немного.

— А меня?

— Тебя, хоть ты и молодой еще, зеленый, выбрали за интеллигентность. Ты ведь, собака, грамотный — все книжки прочел. К тому же и сам сочиняешь... Сумеешь перед Европой выступить. Не ударишь в грязь лицом!

— Где это, кстати, должно происходить?

— Во Львове, — сказал Левка, ковыряя спичкой в зубах.

— Во Львове, — медленно, изумленно проговорил я. — Ты шутишь, Левка?

— Нет, — он пожал плечами, — ничуть. А что такое?

Что ж, подумал я, вот все и решилось, устроилось само собой. Это — рука судьбы! Теперь мне, так или иначе, Львова ни объехать, ни миновать.

— Одно мне только не ясно, — помедлив сказал я, — почему именно там?

— Ну, это-то проще простого, — отозвался Левка, — это дважды два.

И он почти слово в слово повторил фразу, сказанную некогда Копченым:

— Львов — самый западный из всех советских городов. Самый, по сути, европейский.

— Недавно присоединенный, что ли?

— Ну да. И находится он, заметь, недалеко от кордона. Кругом леса, болота, через границу ходить легко...

— Легко ли? — усомнился я. — Наши границы, сам небось знаешь, — на замке.

— Знаю, — сказал посмеиваясь Левка, — думаешь, ты один образованный? Я тоже иногда просвещаюсь, в кино хожу. Недавно вот видел картину...

— Стой, погоди! Я — всерьез...

— Ну, а если всерьез, — заметил Левка, — то все это, брат, не наша забота. Решаем не мы, решает кодла. Кодла знает, что делает. А от нас с тобой требуется одно: поспеть во Львов вовремя.

ВОРОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Идея созыва общеевропейской воровской конференции возникла среди российских уроков довольно давно и, в общем, не случайно.

Преступный мир существует в любой стране, это общеизвестно. Однако отсюда вовсе не следует, что блатные обычаи везде одинаковы. В Северной Америке, например, процветает преимущественно гангстерство (вооруженный грабеж). Причем каждая бандитская группа являет собою замкнутый мирок; это некий клан, живущий по собственным своим правилам и отъединенный от прочих. Такая обособленность зачастую приводит к взаимным конфликтам и распрям. Американский гангстер, по сути дела, враждует со всеми — с блюстителями порядка и с нарушителями его.

Италия, Польша и Россия славятся своими карманниками и взломщиками: мастерами "ширмы", виртуозными "слесарями". Тут уже мир не бандитский, а сугубо воровской.

В Центральной Европе (так же, как и в Англии) все перемешано, четкое деление здесь отсутствует, единого стиля нет. Но все же воровское подполье преобладает над гангстерским.

А вот богатая, пресыщенная Скандинавия заметно отличается от всех этих стран: она поставляет, в основном, не блатных, а шулеров и мошенников.

Любопытно отметить, что социально-экономические условия всегда очень явственно отражаются на характере преступного мира. Здесь все определяется общим жизненным уровнем. Чем этот уровень ниже, тем активней и изощреннее практика воровства. И наоборот. Закономерность эта прослеживается отчетливо. Марксисты, в сущности, правы, утвер-

ждая, что бытие определяет сознание. В соответствии с этим самым "бытием" издревле формировалась вся подземная жизнь, вся уголовная этика.

Этическими вопросами как раз и были теперь озабочены организаторы Львовской конференции.

В чем же заключалась суть проблемы? По российским законам профессиональный уголовник не имеет права где-либо служить или работать. Он не должен входить в контакт с властями — это строжайше запрещено. Зарабатывать себе на пропитание он может только с помощью своей специальности, с помощью воровского ремесла. Все это отлично выражено в классической формуле:

"Вор ворует, а фраер пашет — каждому свое"!

Данная формула неоспорима, она имеет силу закона. Она применима на воле точно так же, как и в лагерях. Имеется одна только разница: если на свободе фраерская, легальная деятельность абсолютно запрещена, то в заключении существуют все же некоторые допущения. Блатной там может трудиться, но только не в зоне, а на "общих работах". Не в тепле, а на холоде. Не около администрации, а наоборот, в стороне от нее. Выходить с бригадой в тайгу на мороз, рыть землю и трелевать баланы — все это можно. Это не зазорно для честного блатного. Другое дело — работать в зоне. Осевшие там арестанты называются "придурками" — и это не случайно. Цепляясь за теплое место, человек поневоле начинает ловчить, приспосабливаться, всячески угождать начальству.

Вполне естественно, что любой, ставший придурком уркаган, тотчас же утрачивает блатные привилегии, делается отщепенцем, превращается в ссученного.

В послевоенные годы (когда условия в лагерях ухудшились и стали невыносимыми, когда пришло время "большой крови") уголовники поняли, что и им надо как-то приспособиться. После многих сомнений и споров было, наконец, решено сделать некоторые исключения из правил: блатные получили возможность в случае надобности становиться бригадиром и парикмахером. В этом был, конечно, свой резон. Бригадир всегда мог спасти и прокормить нескольких дру-

зей; парикмахеру же открывался доступ к острорежущим предметам — к бритвам и ножницам. В период внутрилагерной сучьей войны обстоятельство это было немаловажным.

И все же исключения эти были редки, и в конечном счете они лишь подтверждали правило. Общее правило российского воровского подполья. Российского, но никак не Западного. На Западе, в Европе, все обстояло иначе. Даже в таких истинно воровских странах, как Польша и Италия, даже в итальянской мафии никогда не существовало подобных запретов. Человек там вполне мог совмещать несовместимое: мог быть одновременно чиновником и взломщиком касс, исправно служить в магазине или в кафе и параллельно с этим шерстить ночные квартиры.

И тот же принцип существовал у них в заключении. Попав за решетку, блатной устраивался там, как умел. И если появлялась возможность заделаться "придурком", присосаться к начальству, — он присасывался не задумываясь. Он мог безбоязненно входить в контакт с администрацией — упрекать его было некому.

И вот здесь, в этом пункте, как раз и пролегла основная линия водораздела. Пролегла не теоретически, а вполне реально и ощутимо. Произошло это в начале сороковых годов, после того как Россия и Запад соприкоснулись на поле сражения. Мировая война перетряхнула весь Евразийский континент, границы распались, привычный уклад нарушился. Все на земле смешалось и спуталось, И вот тогда, впервые, русские уголовники познакомились с тюремным бытом зарубежья.

В общем-то, не впервые, конечно. Некоторые старые урки (в основном, одесситы) бывали в Европе еще до революции — гастролировали там и попадались порой. Но все это были отдельные частные случаи. Теперь же хлынул поток. Блатные растекались по оккупированной территории, а затем — по всей Европе.

В свою очередь, и европейские урки — немцы, болгары, румыны, поляки — успели за годы оккупации побывать на юге нашей страны. Немалое их количество застряло в мест-

ных, преимущественно, в украинских тюрьмах. И когда фронт откатился, все они попали в руки МВД.

Между прочим, арестанты частенько в ту пору переходили из рук в руки, доставались поочередно то германской полиции, то советским тюремным властям.

Приняв и заприходовав уголовный контингент (процедура эта везде одна и та же), начальство затем разгоняло людей по этапам: в одном случае этапы уходили на Запад, в другом — на Восток.

Вот так, собственно, и происходила эта перетасовка, это соприкосновение двух несхожих миров.

Несхожесть их обнаруживалась довольно быстро. Поведение иностранцев в тюремных камерах и лагерях России было двусмысленным и недопустимым. Оно противоречило общепринятым нормам и вызывало резкий протест со стороны отечественного ворья. Необходимо было выработать хоть какие-то общие правила, прийти к единому решению в вопросах этики. Ради этого и собрались блатные во Львове.

Ради этого и я приехал туда. Однако, наряду с общественными проблемами, у меня имелись еще и личные. Мне предстояло теперь разыскать друзей Копченого, познакомиться с ними и вручить им письмо.

Я успел уже давно заглянуть в это письмо — поинтересоваться его содержанием. К сожалению, я ничего в нем понять не смог: послание Копченого написано было по-польски.

Хитрый мужик, — думал я, шагая по улицам Львова и разыскивая нужный мне адрес. — Настоящий конспиратор. Ну что ж, посмотрим, каковы его друзья.

Указанный в адресе дом оказался двухэтажным деревянным особняком, расположенным на окраине города в глухом переулке, неподалеку от бойни. Дом окружала высокая изгородь. Во дворе гремел цепью косматый вислоухий пес. Он встретил меня залившимся лаем, и тотчас же возникла из дверей дома женщина. Я представился и протянул ей письмо. Она приняла его, повертела и спрятала не читая. Затем молча взяла меня за руку и ввела в полутемную просторную комнату, судя по всему это была кухня. В одном ее углу виднелась

печь, в другом — поблескивала на полках медная посуда: кастрюли, тарелки, тазы. Дубовый, длинный, грубо сколоченный стол из конца в конец пересекал комнату, и было видно, что за ним совсем еще недавно обедали люди. Еще витал махорочный дым, и громоздилась на краю стола грязная посуда, и пол был замусорен, испятнан следами многих ног.

— Почекайте трошки, — сказала женщина и ушла, оставив меня одного.

Ждать, впрочем, пришлось недолго. Едва лишь я закурил и осмотрелся, знакомясь с обстановкой, раздались грузные шаги. Дверь распахнулась, и в кухню вошел плотный мужчина с вислыми хохлацкими усами и в расшитой косоворотке.

— Ну, будем знакомы, — сказал хохол, пожимая и крепко встряхивая мою руку, — присаживайтесь, прошу вас. (Говорил он, кстати, на хорошем чисто русском языке, с характерной московской интонацией.) — Может, хотите чего-нибудь с дорожки — выпить, закусить? Нет? Вы только не стесняйтесь.

Он уселся на лавку. Потер ладонями колени. И остро глянул на меня.

— Итак, вы от Копченого. Судя по письму, вы с ним виделись... Где это, между прочим, было?

— На Северном Кавказе, — сказал я, — в Грозном.

— А где — конкретно?

— На квартире у одной женщины. Вы ее, наверное, не знаете.

— Как ее звать?

— Марго.

— Ах, Марго, — протянул он. И, улыбнувшись легонько, тронул длинные, прокуренные свои усы. — Прелестная женщина... Значит, встреча состоялась у нее на квартире. Но ведь это, кажется, было уже давненько. Сколько с тех пор прошло времени?

— Не помню, — растерялся я. — Погодите, дайте подумать. С Копченым я виделся где-то в конце сентября, а сейчас — апрель. Значит, прошло полгода.

— Где ж вы были все это время?

— В разных местах, — пробормотал я, — в Ташкенте был, к примеру, в Бухаре. Потом во Владивосток заехал ненадолго. Но в чем дело? Вас интересуют мои маршруты?

— Нет, нет, что вы, — поспешно сказал он, — ни в коем случае! У каждого из нас своя работа. Просто меня несколько удивила столь длительная ваша задержка. А в общем, это не существенно.

Так мы беседовали. И я все время ожидал, что человек этот заговорит, наконец, о деле — о переходе через границу, коснется деталей, поинтересуется моими планами. Хохол ни о чем таком не сказал. Разговор был весьма общим. Он как бы шел по спирали: прихотливыми кругами и петлями, и в результате мы снова вернулись к Марго и сошлись на том, что она женщина редкостная, вполне оправдывающая свою кличку.

— Когда же вы ее видели? — спросил я.

— Давненько, — сказал мой собеседник, — еще во время войны.

И тут же он деловито встал, давая понять, что беседа наша окончена.

Опять появилась женщина, та самая, что ввела меня в дом. Невзрачная, сухонькая, с лицом, закутанном в серый платок, она тихо стала у притолоки, сложила руки под грудь. Хохол сказал, кивнув в ее сторону:

— Это Марья Тарасовна. Прошу любить и жаловать. (Я поклонился. Марья Тарасовна продолжала стоять недвижно и молча.) — Сейчас она отведет вас в вашу комнату. Там вы пока будете жить. Учтите, порядки здесь строгие, — он посмотрел на меня сощурился. — На завтрак, на обед и ужин являться вовремя. Она вам скажет, когда. По дому без толку не шляться. Разговоров с людьми не затевать. Если что-нибудь будет нужно, спросите Хозяина, то есть меня. Все ясно?

— В общем, да, — сказал я, озадаченный начальственным, жестким тоном Хозяина, — но из дому-то хотя бы можно будет выходить?

— Можно, — усмехнулся он, — конечно. Только ставьте в известность Тарасовну или меня — это, во-первых. И во-вто-

рых, если будете возвращаться ночью, — проходить в дом следует не через двор, а задями, огородом. Там есть калиточка. Вам покажут.

Вот, собственно, и все. Правил у нас не слишком много, но они — железные. Усвойте это накрепко. Да вас, я думаю, не надо учить.

— И сколько же мне здесь придется жить? — спросил я, внезапно ощутив какое-то смутное беспокойство. — Моя задача, вы, вероятно, знаете — уйти за кордон.

— Знаю, — сказал он медленно, — но всему свое время. Когда придет час, начнем действовать. А пока надо ждать. Есть причины. Да и вообще, торопливость — вещь неуместная. Кошки все делают быстро и родятся слепыми.

* * *

Обосновавшись на новом месте, я поспешил затем на Западную Горку (так именовался известный во Львове трущобный окраинный район, расположенный на высоком холме, неподалеку от вокзала). Там, на этой Горке, в районе Постдамша, проходила блатная конференция.

Она проходила шумно и суматошно, и в общем-то от нее, как и от всякой конференции, проку было немного. Слишком сильны были противоречия, слишком отчетлив идейный раскол. Каждая из сторон отстаивала свою правоту. И не хотела компромисса.

Единственное здоровое решение, к которому пришли блатные, гласило: "У себя дома каждый волен делать, что хочет, но, попав в чужую страну, он должен подчиняться существующим там законам".

И хотя российские урки, созывая конференцию, мечтали об иных результатах, им пришлось, в конце концов, примириться с данной формулой.

Я лично выступил на конференции всего лишь раз — и неудачно. Переводчик мой, Левка Жид, был сильно пьян, резвился и перевирал все мои слова.

НОЧНОЙ ПЛАЧ

Спустя двое суток Левка зашел ко мне в гости, он появился неожиданно утром (я только что позавтракал), и первая фраза его была:

— Ну, наконец-то! Сбылась голубая мечта. Всю жизнь хотел встретить хоть одного шпиона, а тут у тебя их целая дюжина.

— Какие шпионы? — нахмурился я, — брось болтать.

— Дитя мое, — ласково, проникновенно сказал тогда Левка, — никогда не спорь со старшими, я все-таки и постарше тебя, повзрослей. А кроме того, у меня есть жизненный опыт и — как это называется? — он щелкнул пальцами. — Классовое чутье. Да, да. Так вот, верь моему классовому чутью!

— Но где ты этих шпионов увидел?

— Здесь, на кухне. Да они и сейчас еще, по-моему, там сидят.

— Что ж они делают?

— Яичницу жрут. Похмеляются.

— Да, конечно, — усмехнулся я, — все это весьма подозрительно.

— Ты не смейся, я точно говорю, — загорячился Левка. — Когда я входил в кухню, кто-то там по-английски говорил. А потом сразу перешел на украинский. Да и вообще, — он оглянулся на дверь — такие морды! Стоит только глянуть, и сразу все ясно. У каждого из них на лбу, как клеймо, — пятьдесят восьмая статья отпечатана!

Легкой танцующей походкой прошелся он по комнате, подымил папироской. Затем сказал негромко:

— Как теперь за них приняться — вот вопрос. Если я не работну хоть одного, грош мне цена. Всю жизнь себе не прощу.

— Молчи, — сказал я, — даже не думай об этом. Ты что, меня подвести хочешь?

— А при чем здесь ты?

— Но я же тут живу.

— А кстати, почему? — поднял брови Левка, — почему ты тут оказался? Каким образом?

— Так получилось, — пробормотал я. И шагнул к дверям, — давай-ка выйдем. Здесь — не место. Я тебе потом объясню.

Честно говоря, мне не очень-то хотелось посвящать в свои замыслы Левку, этого известного трепача. Я даже жалел теперь, что дал ему свой адрес. Но делать было нечего, пришлось рассказать обо всем подробно.

— Значит, вот какие дела, — процедил Левка, внимательно выслушав меня. — Да, брат, вляпался ты в историю. Здесь же ведь самая настоящая явка, скорей всего — бендеровская.

— Но почему именно — бендеровская?

— Потому что они как раз тут гнездятся. Это ж ихний район.

Мы стояли на углу переулка, среди зарослей крапивы и лопухов. Отсюда отчетливо был виден дом, в котором я поселился: дощатый, серый, обнесенный высоким забором, он показался мне странно угрюмым, исполненным зловещей немоты. И, оглядев его зорким прищуром, я спросил, закуривая:

— Послушай, Левка, а ты не фантазируешь? Откуда ты знаешь про этот район?

— Об этом все знают, — ответил мой приятель, — кругом говорят. Но это — ладно... Беда в том, что они тебя держат за своего. Усекаешь? Ты приехал от Копченого — и все. Для них достаточно. Хозяин потому и не стал допытываться — где ты был, да что ты делал... Он как сказал? — "у каждого — свои дела"?

— "Своя работа", — уточнил я.

— Ну вот. Конечно, он думает, что ты ихний! Имеешь какое-нибудь особое задание...

— Н-да, скорей всего, так — проговорил я уныло. И тут же добавил, осененный новой мыслью, — но с другой стороны, может быть, это мне на руку? Для своего они как раз и должны постараться.

— Постараться, это верно, должны, — сказал Левка. — А все же связываться с ними опасно. Я бы, например, не рискнул. Как ни говори, а ведь это все — люди темные, занимающиеся политикой. Зачем честному жулику влезать в ихние дела? Можно так влезть, что потом и не выберешься.

— Ни в какие ихние дела я не влезая, — возразил я резко, — и не собираюсь.

— Уже влез, — сказал он и осуждающе качнул головой, — уже с ними партнируешь.

И, еще раз взглянув на виднеющийся вдали дом, он добавил медленно:

— И потом, имей в виду: если тебя вместе с ними застукают — хана. Пощады не жди. Тобой уже не угрозыск будет заниматься, а МГБ. А с этой конторой шутки плохи.

— Что ж, — вздохнул я, — теперь все равно ничего уже не поделаешь. Колесо завертелось. Да и какая, в сущности, разница — с кем и как я буду связан? Любой переход через границу — дело политическое.

* * *

Итак, я попал из огня да в полымя. Спасаясь от блатных передраг, приобщился к другим — политическим. Ища тишины и покоя, угодил в бендеровское подполье, в организацию террористов. Причем в самый центр их, в самое гнездо, И все осложнялось еще тем, что они считали меня "своим". И в качестве "своего" вполне могли использовать меня в конкретных делах, в текущей работе. А работа у них была специфическая! Чуть ли не каждый день доходили до меня слухи о деяниях бендеровцев — о расстрелянных активистах, спаленных хатах, пущенных под откос поездах... Вот к этим самым диверсиям они могли теперь привлечь и меня. И, вероятно, медлили со мною, не спешили перебрасывать через границу. Но даже и в том случае, если бы меня, наконец, перебросили, даже и тогда я оставался бы в их руках. Париж был далеко, и путь к нему — неясен. Скорее всего, я шел бы нелегально, "по цепочке", и Бог знает, где и когда бы эта "цепочка" пресеклась.

Люди эти приняли меня и ввели в свою организацию на основании письма Копченого. Но что он написал обо мне? Как откомендовал? Какие дал им советы и инструкции?

Все это было для меня полнейшей тайной. Я жил здесь уже вторую неделю — томился ожиданием и не знал, как поступить, что делать? Ждать еще? Но сколько и до каких пор? А может, плюнуть на все, бежать отсюда и снова вернуться к блатным?

Я подумал так и сейчас же сообразил, что бендеровцы теперь не выпустят меня живым, не дадут уйти безнаказанно. Любая моя попытка к отступлению будет расценена как предательство. Да и куда я мог бы уйти от них здесь, во Львове?

Я как бы оказался в кольце. Надо было вырваться из него, искать хоть какой-нибудь выход. И, поразмыслив, я направился к Хозяину.

Уже подойдя к его двери (он жил надо мною, на втором этаже), занеся руку для того, чтобы постучать, я вдруг замер, охваченный внезапным подозрением. А что, если все обстоит гораздо проще, чем я думаю? Проще и страшней? Никакой я для них не "свой", они все обо мне знают на основании того же письма. И придерживают меня здесь исходя из каких-то особых соображений. Для чего-то, вероятно, я им надобен. Но для чего?

Хозяйская комната была полна людьми, слоился дым, глухо дробились голоса. В тот самый момент, когда я вошел, Хозяин говорил о чем-то. Увидев меня, он прервал монолог, шагнул ко мне, уже издали протягивая руку для пожатия.

— Здравствуйте, здравствуйте, — проговорил он быстро, — вижу, догадываюсь, о чем вы хотите спросить.

— Ну, если так, — сказал я, — может быть, вы мне сразу же и ответите?

— А вот это уже труднее, — наморщился он, — вообще, должен сказать, голубчик, что вам не повезло; здесь сейчас начались такие сложности...

— Какие же? — полюбопытствовал я.

— Всякие. — Хозяин задумчиво тронул усы. — Политические и организационные. Давайте-ка так сделаем, — он посмотрел на меня из-под опущенных клочковатых бровей. — Вечерком я к вам зайду и мы все обсудим... Сейчас я, как видите, занят. Вы уж извините. Дела.

Он пришел ко мне поздно ночью. Я уже лежал засыпая. Уселся со вздохом на постель и так помалкивал некоторое время. Видно было, что он сильно устал и издерган: лицо его осунулось, потемнело, под глазами крупно обозначились отечные мешки.

Я привстал и потянулся за папиросами. Мы закурили. Цедя сквозь усы синеватый дымок, Хозяин сказал погодя:

— Я вас раньше не посвящал в наши сложности. Может быть, — напрасно... Словом, дела обстоят скверно. МГБ взялось за нас всерьез. Вы понимаете, что это значит?

— Догадываюсь, — усмехнулся я.

— Этого, собственно говоря, давно уже следовало бы ожидать, — он говорил осевшим, каким-то сдавленным голосом. — В приграничные районы стянуты войска, повсюду идут облавы, многие явки разгромлены...

— Значит, что же, — забеспокоился я, — значит мое дело тухлое? Не выгорает — так, что ли?

— Ну, не совсем, — пробормотал он кряхтя. — Не совсем... Вам мы еще сможем помочь. Но в данных обстоятельствах лучший путь для вас будет, как мне кажется, легальный.

— Здесь, во Львове, имеется специальная комиссия по отправке на родину репатриированных поляков. Действует она уже давненько и отправила многих. Сейчас собирается еще одна партия. Если вы вольетесь в общий поток...

Он полез в боковой карман пиджака. И вытащил пачку каких-то бумаг.

— Вот здесь аттестат, а это послужной список. Словом, целое досье. Собрать его, поверьте, было нелегко. Нам пришлось привлечь к делу многих нужных людей, а сейчас это рискованно... Мы вообще таким путем идем редко. Крайне редко. Только в особых случаях. — И, помедлив несколько, он добавил негромко, сумрачно, с хрипотцой:

— Боюсь, однако, что скоро и этот путь будет для нас отрезан... Увидите Копченого — так и передайте ему.

— Ладно, — ответил я.

Я ответил не задумываясь, машинально. Но тут же вздрогнул, охваченный беспокойством; смысл сказанных Хозяином слов дошел до меня не сразу, и когда я, наконец, уловил его — меня словно бы обдало тревожным холодком.

— Пойдите, пойдите, — заговорил я поспешно, — я что-то не понял... Вы сказали: я увижу Копченого?

— Непременно.

— Вот как! Но когда? И где?

— Скорее всего, в Перемышле, — пожал плечами Хозяин, — там, куда отправляют всех репатриантов. А что? — он вдруг прищурился. — Разве вас об этом не предупреждали?

Ах, черт возьми, — подумал я, — вот так сюрприз. Вероятно, он все же считает меня своим. Потому и говорит со мной столь доверительно. И, пожалуй, не стоит с ним откровенничать, разубеждать его. Откровенность сейчас была бы для меня опасной.

* * *

Хозяин ушел, пожелав "спокойной ночи". Однако ночь предстояла мне весьма хлопотливая. Да и в самом деле, о каком спокойствии могла теперь идти речь? Дела мои складывались скверно. И больше всего удручала меня предстоящая встреча с Копченым. Будь он простым честным уголовником или контрабандистом — все бы, конечно, выглядело по-иному. Я, пожалуй, был бы только рад такому провожатому. Но в том-то и дело, что он оказался не жуликом, а разведчиком, матерым шпионом. А у этих людей свои, особые интересы.

Я чувствовал, что, запутываясь, вязну. И если вовремя не выберусь, потом уже будет поздно. Надо было бежать, выбираться немедленно, не теряя ни единой минуты. И уж тем более — не дожидаясь утра.

Утром вы меня уже не получите, — думал я, разыскивая портянки, вбивая ноги в тесные сапоги, Я торопливо оделся, сгрел с постели документы, оставленные Хозяином, сложил

их и сунул под подушку. Затем осторожно, опасливо, я выглянул в коридор. Там было темно и тихо. Лишь где-то в отдалении слышалось невнятное всхлипывание. Женский этот жалобный, сочащийся из мрака голос, показался мне знакомым. Пройдя несколько шагов по коридору, я помедлил, прислушался. И понял: плакала Тарасовна. Она плакала глухо, несмело и горестно. О чем? Бог весть. Но этот ее плач как бы подчеркивал ощущение тревоги и неотвратимость близкой, нависшей над домом беды.

Умеряя дыхание, стараясь не шуметь, я прокрался мимо ее каморки. Здесь коридор изгибался, за поворотом находилась кухня, а рядом с нею — дверь, ведущая в огород. Этим ходом я пользовался частенько и мог теперь свободно ориентироваться здесь во тьме. Минуту спустя я уже был на улице, на воле, под частыми звездами, в зябком лунном дыму.

Ушел я аккуратно, без шума. Сказалась старая выучка. Некоторое опасение вызывали у меня собаки; они, правда, знали меня, но все же могли по ошибке залаять. Так уже бывало. Однако на этот раз они промолчали — не выдали.

Пройдя переулок (на всякий случай я держался в тени заборов, обходя открытые, затопленные луною места), я встал на углу и обернулся, стараясь разглядеть очертания покинутого дома. Здание виднелось смутно, неотчетливо, на фоне неба выделялся только острый гребень крыши. Над гребнем висела низкая, ущербная луна.

Какое-то время я стоял так, мысленно прощаясь с этим домом и со всеми своими надеждами. Потом повернулся уходить. И тотчас же замер, вжимаясь спиной в шершавые доски забора.

Кто-то дышал поблизости, шевелился, похрустывая щебнем. Кто-то здесь был — и не один! Всем существом своим, всеми нервами ощутил я присутствие чужих людей — они находились совсем рядом, в нескольких шагах от меня. И так же, как и я, они таились в тени забора, прятались — но от кого? Зачем?

Поначалу я предположил, что это бендеровский пикет, сторожевое охранение, на всякий случай выставленное Хозяи-

ном. Но тут же сообразил, что если бы это было так, я непременно должен был знать об этом. Ведь не ради же меня, в самом деле, торчали они здесь. Нет, это были сторонние, пришлые люди. И появились они неспроста. Что-то они затевали, тайно к чему-то готовились...

Неужто чекисты? — подумал я содрогнувшись. И тотчас же до меня донесся торопливый шепоток, судя по голосам переговаривались трое:

— Ну, как там, что? — спросил один.

— Да все тихо, — прошептал другой, — спят, должно...

— А может, и не спят, — с коротким смешком отозвался еще один голос, низкий, надорванный и сипловатый, — сидят, помалкивают, как мыши в норе... Да это, в общем, неважно. Все равно накроем.

Они помолчали. Затем кто-то сказал, позевывая:

— Закурить, что ли...

Вспыхнул трепетный огонек, и на секунду в колеблющемся свете я увидел склоненное лицо, воротник шинели, краешек солдатского погона.

Низкий, надорванный голос сказал уже с начальственной интонацией:

— Ты тут иллюминацию не устраивай: переулок просматривается насквозь, не понимаешь разве? Встань хотя бы за угол, дура!

Спичка погасла. Черная, вылепленная из мрака фигура солдата шатнулась в сторону и растворилась, растаяла. Исчезли и другие, смутно маячившие во мгле. Все они сгрудились за углом, и там опять зашептались...

Я уже не слушал их — я медленно отступал, прижимаясь к забору, — отходил все дальше назад, к дому.

Теперь я прислушивался к иным голосам: к тем, что звучали во мне самом. И один голос звал меня в покинутый дом, призывал вернуться туда и предупредить людей об опасности. А другой кричал мне: "Беги! Скрывайся! Не делай глупостей — не заботься о чужих. Те люди все равно уже обречены, а ты еще можешь спастись. Ты и так почти уже спасся, вовремя выбрался из западни. Зачем же лезть в нее снова? Беги, беги, беги!"

Он был силен, этот голос страха. Он подавлял меня, обесиливал, напрочь глушил мою волю. Был момент, когда я чуть было ни подчинился ему. Рука моя внезапно нащупала калитку, я толкнул ее, но в ту самую минуту, когда я уже хотел юркнуть в спасительную эту калитку, мне вдруг вспомнилась женщина, несмело и горестно плачущая в ночи...

ПУТЬ НА ВОСТОК

— Добрались, значит, и до нас, — пробормотал, выслушав меня, Хозяин, — быстро работают, сволочи.

Он спал не раздеваясь, взлохмаченный, с опухшим лицом.

Сунув руку под подушку, он вытащил оттуда увесистый пистолет и привычным движением передернул затвор, вгоняя пулю в ствол. Затем спросил:

— А у вас оружие есть?

— Нету, — замылся я, — как-то, знаете, не запасаю. Я все больше привык с ножом...

— Ну, голубчик, нож — это наивно. Здесь он вам не поможет. Не та ситуация.

Хозяин склонился к тумбочке, стоявшей у изголовья его кровати. Пошарил там и извлек небольшой вальтер — никелированный, изящный, с наборной перламутровой рукоятью.

— Вот, держите! Вид у него, правда, дамский, игрушечный, но вы не обращайтесь внимания...

Он зевнул, потянулся с хрустом. И тотчас обрел обычный свой вид — деловой, собранный, строгий.

— Кстати, документы у вас с собой?

— Там остались, — я мотнул головой, — в моей комнате. Под подушкой.

— Сожгите! Немедленно сожгите! Или нет, ладно... Я сам. Затем он стремительно ринулся в коридор. И мгновенно дом охватила паника. Гулко затопали шаги. Дробясь и пересекаясь, заметались тревожные голоса.

Потянуло едким дымком — в соседних комнатах что-то поспешно жгли.

А вот теперь пора уходить, подумал я, теперь уже можно. Я сделал все, что было в моих силах.

Перед самым рассветом небо помрачнело, подернулось облаками. Темнота загустела, стала непроницаемой, и это помогло мне вторично выбраться из западни.

Держа наготове вальтер, я пробрался во двор соседнего дома, оттуда — на сеновал, потом махнул через покосившуюся изгородь и оказался в чьем-то саду.

Дальше, я знал это, начиналась территория бойни. А там уже было недалеко и до железнодорожного полотна. Однако добраться до полотна оказалось нелегко. Район был обложен со всех сторон. Кольцо облавы стягивалось неотвратимо и явственно. Повсюду в угольном мраке видел я шевелящиеся тени, улавливал подозрительные шорохи, бряцанье металла.

Медленно, с трудом, выбрался я из путаницы львовских улиц. Я крался по городской окраине, поминутно вздрагивая и озираясь, и при каждом новом звуке пугливо принимал к оградкам и деревьям. В иных местах приходилось двигаться ползком. Однажды я чуть было не столкнулся вплотную с каким-то человеком.

Свободно вздохнул я лишь в тот момент, когда передо мною возникли очертания станционных построек. За ними уже растекалась неяркая прозелень. Низкое, подернутое мутию небо понемногу начинало светлеть. И, глядя туда, на восток, я подумал: значит, теперь мне нужно идти в этом направлении. Только в этом. Запад остался сзади, за спиною... И оглядываться на него уже нет смысла!

И сейчас же я оглянулся: сзади, за спиною, посыпались вдруг частые выстрелы. Они были слышны отчетливо. Проследившая над городом тишина усиливала и множила их трескучее эхо.

Ахнул взрыв. Тяжкий медленный отзвук его прокатился по округе и приглушил перестрелку. Она понемногу стала слабеть, выдыхаться. И тогда над крышами домов (над тем

районом, откуда я только что выбрался) взошло багряное зарево пожара.

Оно взошло высоко, это зарево, и словно бы подпалило небо. Края облаков зарделись, косматую их пелену пронизал трепещущий, мрачный свет. Это гибла в огне бендеровская резиденция. Я вспомнил слова Хозяина: "Легко они нас не возьмут!" И подумал о том, что он и его помощники, кто бы они ни были, оказались доблестными людьми. Они сумели достойно встретить беду.

Стрельба, уже редкая и глухая, еще продолжалась какое-то время. Она то вспыхивала, то угасала, отступая все дальше, за край ночи. И наконец, затихла совсем.

Пригибаясь, я опять юркнул в сторону, в палисадник, под защиту густо разросшихся акаций. Там, в этих зарослях, я осмотрел себя и стал приводить в порядок: почистился, выбил пыль из пиджака, старательно надраил сапоги, навел на них блеск. И, упрятав пистолет в задний карман брюк, вышел посвистывая на дорогу.

Теперь надо было как можно скорее разыскать друзей. Они располагались в здешнем квартале — квартировали у вокзальных проституток.

К одной из них, к той, у которой поселился Левка Жид, я и направился тотчас же.

* * *

Она встретила меня хмуро.

— Уходи! — задыхаясь проговорила она, стоя в дверях в одной рубашке, — уходи быстрее! Тут такое творится!

— Что творится? — насторожился я.

— Кругом обыски, аресты, проверка документов... у меня этой ночью мусора два раза были. Слава Богу, Левка уже успел отвалить.

— Когда он уехал?

— Вчера днем. Собрал вещички и даже... — она вдруг всхлипнула, — даже слова ласкового не сказал!

Только сейчас, у ее порога, я почувствовал, как я устал. Я страшно устал. Я изнемог и выдохся полностью, без остатка. Сказалась кошмарная эта ночь — бесчисленные тревоги мои, метания, рысканье... Такого напряжения я еще не испытывал. И теперь едва держался на ногах.

Не желая задерживаться во Львове, в злополучном этом городе, я покинул его в тот же день. Несколько остановок проехал в "собачьем ящике", под вагоном... И повсюду, на любом разъезде, на каждой станции, видел из-под вагона армейские сапоги. Они громыхали и цокали подковами, попирая булыжник, топча досчатый настил перронов.

Улучив момент, я украдкой отстал от поезда и схоронился в придорожной ржи. Дальше я уже шел все время пешком.

Дождь сыпал не ослабевая. Ледяные его струи секли мне лицо и приминали тугие колосья. Я шел в хлебах по поясу, как в воде, раскачиваясь и с трудом переставляя ноги. Я вообще передвигался из последних сил, был на крайнем пределе. И единственное, что удерживало меня на ногах,— это был страх. Обыкновенный страх. Инстинктивное желание уйти, укрыться, избавиться от опасности. Незаметно наступила ночь.

Надо идти в село, — решил я, глядя на косогор, на смутно виднеющиеся в сумерках крыши, — попрошусь в какую-нибудь хату, отогреюсь хоть немного. Здесь, в глуши, мне уже нечего бояться.

Еще издали, пересекая поле, я удивился безмолвию, царящему в селе. Не слышно было крика петухов, не мычали коровы, не скрипел колодец. Что еще там стряслось?—забеспокоился я. Поспешно поднялся по откосу, приблизился к околице. И увидел, что село это вымершее, нежилое.

Многие дома здесь были разрушены, дворы захламлены, засыпаны прахом, единственная улица изрыта воронками. Всюду виднелись следы бывшего огня и давнего запустения.

В этом месте, очевидно, проходила когда-то линия фронта. Я стоял, размышляя о разыгравшейся тут трагедии. Было тихо, пасмурно и жутковато.

Вот так я шел по Украине, шел по следам недавней войны! Путь мой пролегал через разрушенные села, спаленные перелески, опустелые хутора. После многих мытарств я угодили в Конотопскую тюрьму, а оттуда — в Харьков, на Холодную гору. Затем проехал в этапном эшелоне по всей стране. Недолгое время пробыл на пересылке, в бухте Ванино. И, погрузившись в корабельный трюм, пересек туманное Охотское море.

Мой путь был извилист и непрост, но одно оставалось неизменным: я все время, неуклонно, двигался теперь на Восток.

КОЛЫМА

**"И по привычке, руки взяв назад,
Идешь в строю, неволю проклиная".**

Из лагерной песни.

Этап наш прибыл в Магадан, в бухту Нагаево, поздней осенью 1947 года. Навигация кончалась уже, яростные штормы гремели над Охотским морем и заволакивали его снежной пеленою. В горловине бухты и у каменистых ее берегов уже кишело блестящее ледяное месиво — там образовывался припай.

После смрадных отсеков трюма, после многодневной качки и тесноты соленый хлесткий ветер действовал опьяняюще. Шатаясь, кашляя, ежась от холода, сошли мы по трапу на берег. И вскоре очутились на пересылке, на знаменитой Карпунке (так называют колымчане центральный карантинный пункт).

Пересылка эта играет как бы роль чистилища. Людей выдерживают здесь положенное для карантина время, сортируют, перетасовывают. И затем разгоняют по местным лагпунктам — по Дантовым "кругам". Так же, как и у Данте, одни из

этих кругов уводят в рудники, в подземные, сумрачные недра, другие — пролегают через болота и зыбуны лесотундровой полосы, третьи — пересекают горы, четвертые — таежную глушь. Их много, этих кругов. Система колымских лагерей, именуемая официально Дальстроем, занимает территорию, равную примерно пяти таким странам, как Франция.

В сущности, Дальстрой — это особый мир, своеобразная республика. Государство в государстве. Здесь существуют свои законы, свой уклад, своя экономика. На многочисленных приисках и в рудничных шахтах добываются редкие и цветные металлы и, конечно же, в первую очередь — золото.

На востоке нашей страны имеется два основных, самых мощных золотоносных центра. Один из них расположен в Красноярском крае, другой — в системе Дальстроя. И вот тут, на Колыме, намывается почти половина всего золотого запаса Российской Федерации.

Помимо золота, отсюда в Россию идет также пушнина, уголь и слюда, первосортная древесина и ценные минералы. Богата, обширна и страшна эта республика.

"Колыма, Колыма, чудная планета, — говорится в одной из старых лагерных частушек, — двенадцать месяцев зима, остальное — лето!" Сказано точно. Климат здешний на редкость суров, зимы — длительны и свирепы. Полярная ночь начинается, по существу, с конца сентября.

В тот день, когда я впервые ступил на колымский берег (было всего лишь четыре часа дня, вечер только еще близился, но землю уже затопляла студеная сумеречь), над причалом, над лагерными сторожевыми вышками мерцало северное сияние.

Зима уже, в сущности, наступила. И длиться ей теперь предстояло долго. В середине зимы, на переломе ее, морозы бывают такие, что становится невозможно дышать. Воздух обжигает гортань и верхушки легких. В эту пору промерзшая почва трескается так же, как и безводный, выжженный зноем солончаковый грунт пустынь. Со звонким гулом лопаются стволы деревьев. Гул идет по чащобе, и странно и жутко слышать, как звучит она в белой тиши, при полном безветрии.

Птицы в такую пору безмолвствуют, зверье отлеживается в норах. И только люди копошатся на трассах и в рудниках, валят лес в глуши, уныло бредут по заснеженным дорогам. Подгоняемые конвоем, они идут, взявши руки назад и проклиная неволю... Черные, запекшиеся рты их опалены морозом, и пар от дыхания искрист и колюч. И неживым, зеленоватым светом озаряют их лица полярные сполохи.

* * *

"Этап, этап, телячьи вагоны", — уныло напевал я, взгромоздившись на верхние нары и прильнув к зарешеченному окну. За ним, дымясь и вращаясь, пролетали неохватные хвойные леса. Эшелон пересекал Восточную Сибирь, держал курс на пятьсот третью стройку. Он шел тем же самым путем, что и десять месяцев назад, но в обратном направлении, на северо-запад.

Мы все здесь знали, куда нас везут; но какова она, эта пятьсот третья стройка? Что нас ждет там? — об этом оставалось только гадать... Во всяком случае, предполагать надо было худшее. Арестантская мудрость гласит: перемены к добру не ведут. Жизнь любого зека зависит от случайности — как при игре в орлянку. И вся беда в том, что в такой игре выпадает, как правило, решка. Решка, а не орел. Решетка, а не воля. Я давно уже и неоднократно сталкивался с печальной этой закономерностью. И немало размышлял о ней. И результатом этих раздумий явилась песня — та самая, которую я напевал. В какой-то мере она автобиографична. Однако, сочиняя ее, я вовсе не заботился об этом и не старался привязать ее к личной своей судьбе. Я думал не столько о себе, сколько обо всем моем поколении. Вот она, эта песня, я привожу ее здесь целиком. "Я сын подпольщика, рабочего, партийца. Отец любил меня, и я им дорожил. Но отняла его проклятая больница. Туберкулез его в могилу уложил. И вот, оставшись без отцовского надзора, я бросил дом, а сам на улицу пошел. И эта улица дала мне званье вора. И так я скоро до решетки дошел. Как я устал по лагерям шататься! Решетки, нары, —

так из года в год... Ах, черт возьми, как трудно исправляться, когда правительство на помощь не идет! Этап, этап, телячьи вагоны. Опять везут нас к черту на рога. И с каждым днем и с каждым перегонном, все глубже грусть и все мрачней тайга."

Этап был долгий и тоскливый.

Я не знал тогда, какие испытания мне уготованы на пятьсот третьей стройке, какие страшные дела я там увижу (и слава Богу, что не знал). Не предвидел я и дальнейших жизненных перемен, связанных с этим краем (и очень жаль, что не предвидел). Но все же ощущение новизны было сильным и в общем-то безошибочным.

МЕРТВАЯ ДОРОГА

Пятьсот третья стройка представляла собою обширную сеть лагерей, разбросанных по правому берегу Енисея, в среднем его течении. Главное управление стройки находилось в селе Ермаково, неподалеку от города Игарки, у самого Полярного круга.

Здесь велись работы по прокладке железнодорожной трассы Игарка—Норильск. Дорога эта должна была протянуться на многие сотни километров, достичь Таймырского полуострова и связать, таким образом, два крупнейших в Арктике промышленных центра.

По приезде на трассу я сразу же попал в Ермаково — в один из центральных лагпунктов. Здесь я встретился с давними своими приятелями: с веселым карманником Левкой Жидом, с ростовским взломщиком Соломой и с некоторыми другими, знакомыми мне по Кавказу и Средней Азии.

Блатных вообще имелось здесь немало. Ютились они все вместе, в одном бараке. Переполненный этот, битком набитый барак жил особой жизнью.

Вот, как эта жизнь протекала.

Утро. По зоне мельтешат унылые силуэты зэков. Бригады торопятся на развод, тянутся к лагерьной вахте.

Не торопимся никуда только мы с Соломой. Мы освобождены от работы — числимся больными. Лагерьный врач Левицкий — свой человек. Он благоволит к блатным. Ко мне же он относится с особой симпатией, ему нравятся мои песни. Он считает, что у меня настоящий талант. Об этом он говорил мне частенько. И всегда помогал по мере возможности. И вот теперь мы с Соломой покуриваем, стоя возле барака. Мусолим сигарки, озираем рассветную зону, переговариваемся неспешно.

Солома настроен философски. Высокий, худой, с костлявым длинным лицом, он говорит, покашливая от махорочного дыма:

— Ты никогда не замечал, что лагерь — это, в сущности, уменьшенная копия всей нашей страны, всей системы? Приглядись, влезь утром на крышу. Чуть свет, идут на работу мужички, тащатся кряхтя. Затем, попозднее, топают придурки — бухгалтера, парикмахеры, кладовщики, словом, интеллигенция. Эти не спешат... Урки, как водится, от работы отлынивают, они заняты своими делами. Ну, а вокруг — охрана, вооруженная власть, железный занавес. Все, брат, по шаблону, по одному образцу.

Из-за угла, в туманных рассветных клубах, возникает человек — низкорослый, плотный, в распахнутом ватнике. Это — каптер, работник вещевого склада. Он идет вперевалочку, напевая сквозь зубы:

**Что я вижу, что я слышу,
влез начальничек на крышу...
И кричит всему народу:
вот вам хрен, а не свободу!**

НАСЛЕДНИК ИЗ КАЛЬКУТТЫ

С политзаключенными я раньше почти совсем не общался и почти не обращал на них внимания. В моих глазах они сли-

вались с общей арестантской массой, их жизнь меня не интересовала. Так было на Украине и на Колыме и во время всех моих этапов. Поначалу так было и на пятьсот третьей стройке. Но потом я начал сближаться с политическими, стал приглядываться к некоторым, выделять их из общей массы. Уголовный мир все ощутимее сковывал меня, стеснял. С некоторых пор я начал испытывать потребность в общении. Я искал толковых собеседников, советчиков, знатоков. И вскоре нашел их. Нашел среди политзаключенных.

Одним из них был Роберт Штильмарк. Сейчас это — весьма известный советский беллетрист. Его перу принадлежит несколько произведений, среди которых самым крупным (впоследствии неоднократно переиздававшимся) является роман "Наследник из Калькутты". Этот роман он написал пребывая в заключении на пятьсот третьей стройке, и вот при каких обстоятельствах.

Вскоре после того как Роберт Штильмарк прибыл на стройку, его вызвали в штабный барак к старшему нарядчику Василевскому. Нарядчик этот (человек немолодой уже, грузный, с широким крестьянским лицом и белесыми, шмыгающими глазами) спросил, разглядывая лежащий перед ним на столе формуляр:

— Вот тут написано, что ты по профессии — литератор. Это верно?

— В общем, да, — ответил Роберт.

— Что значит — в общем? Ты в этом деле-то разбираешься?

— Разбираюсь, конечно.

— Ну, к примеру, роман? — Слово "роман" он выговорил по-тюремному, с ударением на первом слоге. — Смог бы, а? Только не хитри, не валяй ваныку. Учти! — он поднял палец с толстым коричневым ногтем. — Со мной хитрить не надо.

— Да зачем это вам? — изумленно и растерянно спросил тогда Штильмарк. — Какой вам прок от того — могу я написать или нет?

— Эх ты, лопух. Своей пользы не понимаешь. — Василевский привстал наморщась. Его мокрые облупленные губы вытянулись. — Да ведь, если роман получится, его ведь можно

в ГУЛаг послать, в Министерство. Или, скажем, самому Лаврентию Павловичу... Глядишь, он и освободит за это, помилует. Чем черт не шутит!

И, выйдя из-за стола, он шагнул к Штильмарку, дыкнул ему в лицо:

— Давай, попробуем. На пару... а? Я тебе создам условия, а ты напишешь. Но учти. Наши имена должны быть рядом! Я тоже иду в долю. Согласен?

— Но почему вы думаете, что за это нас непременно освободят? — усомнился Штильмарк. — Насколько я знаю, литераторов в наше время не милуют. Их, наоборот, истребляют.

— Так это их за политику, — отмахнулся нарядчик, — пушай не лезут не в свое дело! И нам это тоже ни к чему... Зачем нам политика? Можно ведь и о другом...

— О чем же?

— Ну, вообще. О жизни... И лучше всего не о нынешней, не о нашей. Ну ее к бесу, эту жизнь! Самое разлюбозное дело — старина. Взять, к примеру, что-нибудь эдакое морское, заграничное. Да вот, посмотри: у меня тут все, что надо.

Василевский разжал потный кулак и протянул Штильмарку смятую, замусоленную бумажку. Очевидно, он уже давно таскал ее с собой: бумажка сильно поистерлась, чернильные каракули, испещряющие ее, расплылись. Все же Штильмарк вглядевшись разобрал некоторые фразы. Судя по ним, нарядчик подготовил целый сюжет. Тут были все атрибуты традиционной пиратской романтики: сокровища, штормы, необитаемые острова, абордажные схватки, ночные пожары. Имелся также похищенный младенец знатного рода. А увенчивал весь этот набор ручной африканский лев.

— Ты понял? — склонившись к Штильмарку, гудел нарядчик, — понял? Тут у меня все! Тебе ничего и выдумывать не надо. Садись и шуруй.

— Откуда вы все это взяли? — подивился Роберт, возвращая заказчику бумажку.

— Из литературы, — ответил тот важно. — Я ведь третий срок сижу. Дай Бог всякому!

Роберт понял, о какой литературе идет речь: он знал, как делаются тюремные романы. Опытный рассказчик, он сам

когда-то развлекал в своей камере шпану, создавал чудовищные смеси из Стивенсона и Габорио, Хаггарда и Буссенара. Это все он знал отлично. Но никогда не думал, что ему предложат состряпать книгу по такому рецепту. Не тюремный роман, а настоящий роман — с ударением на последнем слоге.

Из задумчивости его вывел голос Василевского:

— Ну, так что? Решай! Или — или. Или будешь в тепле сидеть, в зоне, перышком корябать, или пойдешь на общие.

Штильмарк задумался, косясь на тусклое, обметанное стужей окно. И согласился. Идти на мороз, на общие работы, не хотелось, было страшно. "Да и вообще, подумал он, глупо отказываться. Судьба послала мне тщеславного идиота — этим надо воспользоваться. Хочет, чтоб я корябал перышком, что ж, покарябаю".

* * *

Корябал он долго, года два, не менее того. Сначала он попросту волянил, тянул время (арестанту ведь некуда спешить). Потом незаметно увлекся работой, почувствовал вкус к ней, записал всерьез.

Предложенный Василевским сюжет постепенно выстроился, обрел определенные очертания. С одним только Роберт не смог управиться — с ручным львом.

— Послушайте, — не раз говорил он нарядчику, — ну зачем он вам, этот лев? На кой черт он сдался? Давайте уберем его, вымараем.

— Ты льва не трожь, — хмурился Василевский, — раз я сказал — пусть будет. Мне этот зверь, может, дороже всего!

— Но куда я его дену?

— Придумай! На то ты и есть писатель. Неужто во всем романе не найдется ему места?

Вот так он и рождался, роман "Наследник из Калькутты". Когда рукопись была закончена, ее тщательно перебелили два опытных каллиграфиста, бывшие армейские писаря. Лагерные художники сделали карандашные портреты "соавторов". Затем роман был отдан начальству и пошел по инстанциям.

Теперь оставалось только ждать. Где-то в глубине души Роберт сознавал, что надеяться, в сущности, не на что: не такое это было сочинение, чтобы за него могли освободить. Да и вообще, подобные чудеса в лагерях не случаются. Однако своими мыслями он с "соавтором" не делился. Разочаровывать нарядчика было ему невыгодно: он ведь жил теперь неплохо, числился во внутрилагерной службе. И так, в тепле, надеялся высидеть весь срок.

Но вскоре обстоятельства изменились. Штильмарк стал замечать какую-то странную перемену в Василевском. С каждым днем тот становился все более замкнутым, отчужденным. А потом произошел случай, заставивший Роберта задуматься всерьез.

Как-то ночью он отправился к друзьям в соседний барак. Постель свою Роберт приготовил так, чтобы при взгляде на нее казалось, будто там лежит человек, укрывшись с головой. Он сделал это на случай ночного обхода, для обмана надзирателей. Но обманулись, как выяснилось, не только надзиратели.

Вернувшись перед самой зарею, Штильмарк увидел, что постель его разворочена, растерзана, одеяло проколото в нескольких местах, а тугая, набитая опилками подушка разрублена топором напополам.

Кто-то ночью покушался на него, хотел прикончить его сонного. Это было непонятно и странно.

Кому он перешел дорогу, этот тихий интеллигент, безобидный сочинитель романа "Наследник из Калькутты"? Ответ был очевиден. Только одному человеку он мог помешать — своему химерическому соавтору.

Подумав об этом, Штильмарк вдруг понял и причины тех перемен, которые произошли в их отношениях.

Нарядчику необходима была книга, и он добился этого, получил ее. Он действовал расчетливо и хитро. Пока Роберт писал, он был нужен, теперь же он стал опасен. Соавторство превращалось отныне в соперничество. Правда о том, как создавался роман, могла в любой момент всплыть наружу. А этого Василевский допустить не мог.

Единственным надежным способом избавиться от соперника было убийство. Это и попытался сделать Василевский, но, конечно, не сам, не своими руками. Он использовал кого-то из уголовников, нашел настоящих, профессиональных убийц. Отыскать их среди профессионалов не составляло труда. Никогда не вникавший в блатные дела Штильмарк теперь заинтересовался ими всерьез. И это обстоятельство привело его в результате ко мне.

* * *

В сущности, мы оба со Штильмарком как бы шли навстречу друг другу; двигались ощупью, медленно и, наконец, столкнулись. И эта наша встреча была знаменательной для обоих. В особенности, пожалуй, для меня.

Книжник, эрудит, знаток и ценитель поэзии, Роберт был первым человеком, который отнесся к моим стихам профессионально и дал мне деловые, толковые советы. Хотя, конечно, я тоже оказался ему полезен.

В "сучьей войне" (как и во всякой настоящей войне) враждующие стороны не только сражались, но еще и активно следили друг за другом. В нашем лагере слежка за врагом была налажена неплохо, мы имели среди сучни надежную тайную агентуру. Этим я и воспользовался, чтобы выяснить все подробности, связанные с ночным покушением в итээровском бараке. И уже на следующий день стало известно, что на это дело ходили два парня — Носорог и Брюнет. Причем в их компании незадолго до того побывал Василевский. Все выяснилось: опасения Штильмарка подтвердились полностью.

— Что ж теперь делать? — спросил удрученно Роберт, — Василевский не даст мне покоя, это ясно. Если уж он решил от меня избавиться...

— Так надо его опередить, — сказал я, — надо постараться избавиться от него самого. Это дело несложное. Но сначала припугнем его, посмотрим, что получится.

Я тут же начал действовать, призвав на помощь молодую шпану. И однажды Василевский, вернувшись к себе поздней

ночью, увидел записку, приколотую ножом к изголовью его постели.

В записке значилось: "Негодяй! Все, что ты затеваешь,— известно. Не мельтеши, сиди тихо и не трогай приличных людей. Если что-нибудь с кем-нибудь случится по твоей вине, запомни: то же самое будет и с тобой".

Угроза подействовала. Нарядчик понял, что у его соавтора имеются покровители среди блатных, он испугался и присмирел. Покушения больше не повторялись, отныне Штильмарк мог жить спокойно.

Мы виделись с Робертом часто и подолгу. Он не только беседовал со мной о литературе, но еще и снабжал меня ценными книгами (политические ухитрялись иногда доставать их с воли).

Среди книг, полученных мною от Штильмарка, была одна, чрезвычайно заинтересовавшая меня и впоследствии сослужившая мне добрую службу. Называлась она "Оформление и производство газеты".

Вручая мне ее, Роберт сказал, морща в улыбке сухие, запавшие щеки:

— Прочти со вниманием и запомни, тут для тебя много полезного. Выйдешь на волю, это все пригодится.

— Ты думаешь? — усомнился я, — не знаю, не знаю... При моей безумной жизни...

— Твоя безумная жизнь на исходе. Пойми, чудак, ты — поэт. И уже созрел для дела. С блатными тебе теперь не по пути.

— Куда ж я от них денусь? — пробормотал я со вздохом. — И рад бы отойти, да не могу. Сам знаешь, у нас война.

— Так ведь война за решеткой, — возразил он, — а я говорю о воле.

— Ну, до этого еще надо дожить.

— Постарайся, — сказал он весело.

— Ладно, — усмехнулся я и раскрыл книгу. — Значит, говоришь, пригодится?

— Несомненно! Редакционной работы тебе на свободе не миновать. Журналистика — обычный путь в литературу. А здесь, в этой книге, содержится все необходимое для профес-

сионального газетчика. Образцы типографских шрифтов, корректурные знаки, журналистская терминология — словом, все... Читай, учись! Постигай квалификацию загодя.

* * *

Соприкоснувшись с политзаключенными, войдя в среду, окружавшую Штильмарка, я познакомился со многими интересными людьми. Среди них был лагерный врач Константин Левицкий. Он давно уже благоволил ко мне и вообще с явной симпатией относился к блатным.

Вот с этим Левицким я сблизился, пожалуй, больше всего. Он не только одаривал меня беседами (а собеседник он был блестящий), он еще и помогал мне, освобождал от работы. Однажды он уложил меня к себе в больницу с диагнозом "сыпной тиф".

Меня поместили отдельно от прочих больных в крошечной комнате, расположенной в конце барака, возле кладовой.

Поздней ночью (я уже начинал засыпать) дверь тихонько скрипнула. Щелкнул выключатель. И я увидел сухую костлявую фигуру Константина Левицкого.

— Я тебя разбудил? — спросил он, грузно усаживаясь на край постели

— Да нет. А что такое?

— Просто решил посидеть, покалякать, — он зевнул, крепко огладил пятерней лицо. — Устал, понимаешь. А вот не спится. И вообще, тоска... Это самое проклятое время — перед рассветом. Буддийские монахи называли его в древности "час быка" — время, когда на земле безраздельно властвуют силы зла и демоны мрака.

— Вот странно, — отозвался я, — судя по литературе, самая роковая пора — это полночь. У Дюма, например, полночь — час убийц, и у Конан Дойля, и у других.

— Ну, для убийц, может быть, это подходит, — сказал Левицкий, — не знаю. Но здесь, понимаешь ли, речь идет о другом. Не об уголовщине и вообще не о реальных вещах, а скорее — о мистических. О вещах, связанных с глубинным,

подсознательным восприятием мира. Ночная тьма на человека действует угнетающе. И самые тяжкие, томительные часы не в середине ночи, а на спаде ее. Это еще знали древние римляне. У них по этому поводу имеется отличное высказывание. И, строго подняв вверх палец, он произнес протяжно и певуче:

— Долор игнис анте люцем... Свирепая тоска перед рассветом.

— Свирепая тоска перед рассветом, — повторил я шепотом. — Послушай, это ж ведь готовая строка! Пятистопный ямба.

— Дарю эту строчку тебе, — сказал он учтиво. — Может, вставишь ее куда-нибудь. А лучше всего сочини на эту тему специальное стихотворение или песню, у тебя получится. Главное в том, что демоны властвуют перед самой зарею, понимаешь? Их власть не беспредельна. Рано или поздно мрак окончится, сменится светом. И чем свирепее предрассветная тоска, тем ближе освобождение. Вот, мы с тобой — в лагере. Вокруг нас — ночь. И демоны зла. Их много. Они командуют нами, стерегут нас, стоят на вышках... Ты понимаешь?

Левицкий коротко взглянул на меня. И тут же отвел глаза, прикрылся своими густыми бровями. И я понял, отметил, что приход его не случаен. Он не просто решил посидеть здесь со мной, покалякать, нет: он что-то задумал, у него есть ко мне какое-то дело.

— Послушай, — сказал я, — давай напрямик... Эти условия, которые ты мне тут создал, они — почему? По какой причине? Просто так — по дружбе?

— Н-ну, не только, — замялся он. — Хотя, конечно, тебя я ценю высоко. И отношусь искренне, по-дружески, так же, как и к другим блатным.

— А почему, скажи мне, ты всех нас так ценишь? За что?

— Изволь. Скажу. Дело в том, — он понизил голос, — что вы, блатные, представляете собой ту реальную силу, которая нам чрезвычайно нужна. Чрезвычайно! Без вас, боюсь, мы не сможем обойтись...

— Но кто это — вы?

— Комитет сопротивления, — сказал он, — слышал о таком?

— Н-нет...

— Ну, вот. А он, однако, существует. И работает весьма активно.

— Чем же он занимается?

— В данном случае — подготовкой к восстанию.

— Ого. Вон вы куда хватили! Теперь я понимаю, зачем вам понадобились урки. Но, слушай, по совести, это серьезно?

— Вполне, — сказал он.

То, что я услышал затем, повергло меня в немалое удивление. Подпольная повстанческая организация, как оказалось, действовала на пятьсот третьей стройке уже довольно давно и охватывала почти все местные лагпункты. Мало того, связанные с сопротивлением люди имелись в Игарке и даже в далеком Норильске. Где-то там, на Крайнем Севере, находился и центральный штаб. Восстание должно было подняться одновременно во всех концах трассы по сигналу, данному с воли. Для этой цели существовали специальные "вольные" связные, особо законспирированные, избранные из числа ссыльных поселенцев, которые в здешних краях обитали во множестве.

— Вот так, — сказал в заключение Левицкий, — такова общая картина. Конечно вкратце, в основных чертах.

— Одно мне только не понятно, — уточнил я, — почему центр расположен так далеко?

— Да просто потому, что конечная наша цель — захват Норильской радиостанции, — медленно, веско выговорил Левицкий, — прорвемся в эфир, свяжемся с Америкой, с Западом...

— И ты думаешь, вас кто-нибудь поддержит? Да вы, очевидно, не знакомы с историей лагерей.

И я рассказал ему о знаменитом Соловецком бунте, о массовом побеге заключенных с островов и о том, как норвежцы выдали беглецов — вернули их под конвоем обратно. Сообщи я также и о восстаниях на Воркуте и в Соликамске. Кое-кто рассчитывал тогда на поддержку местного туземного населения. Однако расчеты бунтовщиков не оправдались. Туземцы предали их. И в результате оба эти восстания были

подавлены со всей жестокостью, на какую способны чекисты. Причем они вылавливали в тайге эзков с помощью того же местного населения.

— Что же ты думаешь? — спросил после минутного молчания Левицкий, — что всякая борьба обречена. Что надо сложить оружие?

— Все нет, — ответил я, — да теперь оружие складывать и нельзя, бесполезно. Вы все равно уже сунули голову в петлю. Так что надо действовать и рассчитывать нужно только на себя, на свои силы. И думать в первую очередь следует не об этой дурацкой радиостанции, а о том, как бы уйти... Если тебе нужна помощь урок, то мы, конечно, поможем. Переколоть охрану, взять зону — это пожалуйста. Но потом наши пути разойдутся.

— Что значит, разойдутся? — резко спросил Левицкий. — Когда это — потом?

— Ну, после резни, после того, как будет ликвидирована охрана. Вы, вероятно, собираетесь оставаться здесь, держать оборону... А уркам это ни к чему. Восстание для них не самоцель, а единственный, кратчайший путь к свободе. Понимаешь, к свободе, к бегству! Ради этого они пойдут на все, тут уж я могу выдать любые гарантии.

Мы договорились с Левицким продолжить этот разговор, уточнить план участия уголовников в восстании.

После его ухода я долго не мог уснуть, ворочался в постели, курил. Было тихо в больнице, лишь заурывно подрагивали и дребезжали стекла. И я вспомнил римскую фразу: "свирепая тоска перед рассветом"...

Потянувшись к лежавшей на тумбочке тетрадке, я тороплив кроша карандаш, записывал первые, едва родившиеся, еще рыхловатые строки: "Свирепая тоска перед рассветом. Ни звезд, ни зги среди снежной кутерьмы... А впрочем, может, есть свой смысл и в этом, ведь день всегда рождается из тьмы!"

* * *

А вскоре после того как я выписался из больницы, по зоне пополз слухок о готовящемся массовом этапе. То, о чем смутно поговаривали арестанты, подтвердилось. Однажды утром, на вахте, во время развода, старший нарядчик зачитал список тех, кому надлежит готовиться к отправке. Список был большой, в нем значилось и мое имя.

Известие о восстании дошло до меня не скоро. Расставшись с Левицким, я оказался уже совсем в другом лагере, в низовье Енисея. Принес это известие начальник нашего лагеря.

Он явился в зону поздним вечером, сопровождаемый многочисленной свитой из надзирателей. Все они были явно под хмельком.

Нас выгнали из барачных корпусов и собрали у вахты. И здесь, надсаживаясь от крика, начальник объявил нам о том, что группа заключенных, повинных в подпольной антисоветской деятельности, недавно особым совещанием приговорена к высшей мере социальной защиты — расстрелу!

Ему подали бумагу. И, загораживаясь ладонью от косых солнечных лучей (было уже лето, давно наступил полярный день), он зачитал имена приговоренных.

Среди них оказались и Левицкий, и все известные мне члены комитета сопротивления. Начальник дочитал список до конца. И добавил с перепойной натугой:

— Приговор приведен в исполнение! Вот так. Сделайте из этого выводы для себя.

* * *

До окончания моего срока оставалось немного — всего лишь один год! Свобода приближалась, брезжила, была уже где-то невдалеке. И все же я с каким-то суеверным упорством отмалчивался, избегал о ней говорить и даже думать.

Через некоторое время нас опять отправили на этап, и я опять сидел в барже, в закрытом и смрадном трюме. И снова вокруг меня бурлила шпана. И опять я терялся в догадках,

не зная, куда на этот раз меня гонит судьба, и ожидал тоскуя новых кошмаров. Мой срок подходил к концу, но я не мог, не смел поверить в свое близкое освобождение.

Я поверил в него лишь тогда, когда караван наш прибыл в Красноярск — на пересылку. Здесь я провел все последние месяцы. Причем сравнительно тихо. Растеряв почти всех своих старых друзей, я уже не тянулся к новым, держался особняком. Все последнее время общался я, в основном, с одним только Соломой. От него я не скрывал ничего. Он был, пожалуй, единственным из здешних блатных, кто мог меня понять по-настоящему.

И я сказал ему как-то в поздний час за кружкой чифира:

— Знаешь, Солома. С меня хватит. Первый мой шаг на свободу — и я уже не блатной!

— Но что ж ты будешь делать? — спросил он.

Я ничего не ответил на это. Да и что я мог ему сказать? Я ведь и сам не был ни в чем уверен.

— Ну, а если не получится, — настойчиво проговорил Солома, — тогда как же? Литература — дело темное, путаное. Там многое от везения зависит, от того, какая выпадет карта. И выбиваться там не легко. Взять того же Есенина...

— Однако, он выбился!

— Но ты же не Есенин.

— Почему знать, — усмехнулся я. — Да и вообще, дело не в этом. Просто я дальше так не могу. Не хочу. Нет сил. Понимаешь?

— Кому-нибудь уже говорил об этом?

— Пока только тебе.

— И правильно, — кивнул Солома, — помалкивай. Покуда звонок не прозвенел...

— Но почему? — возмутился я, — почему я должен молчать? Честно завязать по нашему закону имеет право каждый блатной!

— Что закон, — он уныло махнул рукой. — Времена теперь не прежние. Жестокие времена наступают. В нынешних условиях кто не с нами — тот против... Тебя могут упрекнуть в том, что ты отрекаешься от блатной веры в самый трудный мо-

мент, попросту говоря предаешь нас всех. И что ты на это возразишь?

— Трудно что-нибудь возразить, — поежился я.

— Потому я и говорю: не спеши... Когда нужно будет, я сам объявлю блатным.

Так, до последнего дня, до самого "звонка", я не мог связаться с блатными. Лишь в январе 1952 года (за день до моего освобождения) состоялось "толковище", на котором я уже не мог присутствовать. Решалась моя судьба. И покуда она решалась, я слонялся под окнами воровского барака и с тревогой, с беспокойством прислушивался к долетающим оттуда голосам...

* * *

Толковище было долгим, бурным и закончилось неожиданно. На пороге появилась сухая, сутулая фигура Соломы. Длинное лицо его морщилося, лунообразный рот улыбался. Поманив меня пальцем. Солома сказал:

— Взойди-ка в помещение.

И когда я вошел, он небрежно мотнул головой, указывая в угол:

— Вот, смотри. Это для тебя!

В углу пестрой грудой были навалены тряпки — костюмы, сапоги, свитера. Тут же топорщился раздутый, набитый под завязку мешок. Поглядывая на него, я спросил растерянно:

— Это что? Зачем?..

— А затем, что ты теперь не блатной, — сказал Солома. — Ты же сам говорил: "первый мой шаг"...

— Но куда мне столько?!

— Не захочешь носить, продашь. Барахлишко нынче в цене... Главное, чтобы ты по дороге не шкодил, не засекался по пустякам. Гореть теперь тебе нельзя. Играй чисто. И что-то,

очевидно, заметив в моем лице, Солома добавил строго, почти угрожающе:

— Не смей отказываться. Бери все! Сходка решила...

— Что же она решила?

— Она решила: быть тебе поэтом!

ANDREI SEDYCH
Editor in Chief

LAWRENCE WEINBERG
Business Manager

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEW YORK N Y 10019

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; в месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

ЖУРНАЛ "ЭХО"

В Париже начал выходить новый литературный ежеквартальный журнал "Эхо", редактируемый В. Марамзиным и А. Хвостенко. Повод для выхода еще одного журнала — обилие рукописей из России.

В 1-м номере читайте повесть ленинградца Владимира Губина "Бездожде до сентября", рассказ В. Рыбакова "Закон", отрывок из распространяемой самиздатом книги Георгия Пескова "Разговор с собой", "Письмо из лагеря" Михаила Хейфеца, публикацию прозы одного из крупнейших русских поэтов Александра Введенского, уничтоженного при Сталине, большие подборки стихов трех поэтов — И. Бродского, Э. Лимонова и А. Хвостенко, статьи А. Волохонского о Набокове и В. Марамзина о Максимове и др.

ЖУРНАЛ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТЛИЧИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ, ОДНАКО НАДЕЕТСЯ БОЛЕЕ ДРУГИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ИМЕННО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОЦЕССАМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ, А ТАКЖЕ ВВОДИТЬ В РУССКИЙ ОБИХОД НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ИНОЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Журнал продается во всех русских магазинах. Цена 16 фр. фр.

"ДВЕРЬ ОТПЕРТА. ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ"...

М.С. ЦЕТЛИН

22 ноября 1917 г. Коктебель.

Дорогая Мария Самойловна, только что получил телеграмму с вопросом о Коктебеле (она отправлена была 15-го), потому отвечаю срочной, которая поехала в город сегодня. Удобства Коктебеля в том, что пока здесь тихо и аграрных ужасов не предвидится. Для жизни здесь на зиму — сурово и много неудобств. У нас в доме, к сожалению, все зимние помещения заполнены и переполнены с осени, а большинство комнат для зимы необитаемо. Поэтому я в телеграмме советую переговорить сейчас же с Алексеем Петровичем Новицким — библиотекарем Школы Живописи и Ваяния (он живет в здании же школы на Мясницкой). Его дача в Коктебеле приспособлена для зимы и могла бы подойти Вам. В ней пять комнат. Это, конечно, минимум, но другого в Коктебеле не найдешь для зимы. Кстати, он очень милый человек и сможет рассказать тебе про здешние усло-

вия жизни. Не знаю, приемлемы ли они будут для тебя. Главное — не знаю, лучше ли они московских. Здесь есть мука, но хлеб надо печь дома или привозить из города. Карточки только на сахар, но дают только 3/4 ф. Керосин этой зимой можно доставать (прошлой не было). Дрова дороги, но есть. Каменный уголь, может, будет, так как собираются перевести главные угольные склады из Бердянска в Феодосию, как в незамерзающий порт. Но зима обещает быть теплой: мы еще до сих пор не топили. Трудно с молоком, но я думаю, что если дать хорошую цену — болгары будут давать (теперь цена 60 к. бут.). Мясо здесь редко, овощи надо делать запасы. Вообще, как мне ни хотелось бы видеть тебя в Коктебеле, должен предупредить, что здесь условия жизни зимой очень суровы, и я не вижу как ты справишься. Другое дело, когда у тебя будет соб(ственный) дом... Во всяком случае, надо вести с собою прислугу и кухарку. Зимой изводят здесь свирепые северные ветра (те, от которых защищен твой будущий участок). Но в антрактах бывает прекрасная и теплая погода. Но ни советовать, ни не советовать не могу, так как совсем не знаю, до какой степени плохо сейчас в Москве и в других местах. Это письмо передаст тебе Марина Ивановна Эфрон (Марина Цветаева — поэтесса). Она тоже тебе расскажет про условия коктебельской жизни, так как сейчас едет в Москву за детьми: перевозить их в Коктебель.

Совсем нет здесь чаю, и если есть возможность достать через тебя, пришли нам, пожалуйста, с нею.

Я на этой неделе отправил 2 письма: тебе и Мише, где, главным образом, писал о земле и торопил с ответом, так как Юнге меня спрашивает, покупаете ли Вы участок или нет, так как на него много охотников, и надо заключить купчую до начала Учред (ительного) Собр(ания), которое может приостановить все сделки, а Миша еще до сих пор не прислал ни задатка, ни доверенности на заключение купчей.

Я не знаю, дошли ли мои письма, и потому еще раз повторяю все нужное.

До скорого свидания? Обнимаю Мишу.

27 ноября 1917. Коктебель.

Дорогая Екатерина Павловна, между Вашим последним письмом и моим ответом прошел государственный переворот и один месяц времени.

Что с Вами? Живы ли Вы? Посылаю Вам несколько новых моих стихотворений. Когда Вы их прочтете, то передайте их поэту Илье Григорьевичу Эренбургу, который живет в том же доме, что и Вы, кв. 87. Но если там его нет (это кв/артира/его родителей), то спросите его адрес и пошлите ему стихи, а адрес сообщите мне, а лучше сами сходите к нему, если он не на другом конце города, и передайте ему их лично и познакомьтесь с ним. Он об Вас слышал от меня уже. Вам его будет ценно узнать.

В тех стихах, что Вы мне посылали, есть хорошие строки, отдельные ритмические переходы, но они потоплены массой слов не плохих, а никаких. Вам надо учиться выбрасывать из стихов все лишнее и сжимать, сжимать до последней краткости. Ваши стихи — это только черновики. Надо приучаться критически их обрабатывать и переплавлять. Избегать красивого и лицевого, а искать верного и четкого, говорить только необходимое. Работайте над переводами французов — это лучше всего формирует стих. Сознание своего бессилия — это хороший признак, — это признак таланта (бездарность самоуверенна). Творчество — это всегда прохождение верблюда сквозь игольное ушко. Но когда наступает это творческое отчаяние от сознания невозможности пройти сквозь игольное ушко, надо стараться не предаваться отчаянию, а переводить это чувство посредством молитвы в волю, в новое напряжение. Помните, что не Вы говорите, а говорится через Вас, и надо быть совершенным, верно настроенным инструментом. Тот, кто будет играть на нем, — Вы же сами, то Ваше Я, которое Вы не сознаете, к пониманию которого можете приблизиться, когда освободитесь от самого себя, то есть от своей душевной индивидуальности, и овладеете духовной.

В Коктебеле снег, метель, буря. Человеческий мир спокоен. Кажется, выбирают Крымского хана.

А.Н. ТОЛСТОМУ

27 ноября 1917. Коктебель.

Милый Алехан,
 мне хочется напомнить тебе, как ты сердился на меня, когда в марте месяце во время торжества революции, я говорил тебе, что Красная площадь мне представлялась вся залитой кровью. Видишь теперь, что я был не совсем неправ. Не неправ был я и тогда, когда я бил тревогу в предчувствии теперешнего большевистского мира.

Тот, кто видит слишком ясно вперед, не должен заниматься политикой: он будет только раздражать. Его дело писать стихи. Посылаю тебе несколько моих последних. Мне бы хотелось, чтобы ты, если это будет удобно, прочел их на заседании "Клуба Писателей": это было бы моим вкладом, так как я не знаю, попаду ли я в Москву. Для Пра, конечно, нечего и думать о поездке, а меня она отпустить, очевидно, очень не хочет, не зная, можно ли будет вернуться. Она отчасти права, так как я думаю, что у нас идет дело к войне между Севером и Югом.

Как ты поживаешь? Привет Нат/алье/ Вас/ильевне/.

И.Г.ЭРЕНБУРГУ

27 ноября 1917. Коктебель.

Дорогой Илья Григорьевич.

Я, конечно, так и знал, что твой въезд в одну из столиц без очередного припадка сумасшествия не обойдется, и потому, прочитав через неделю о московских делах, не удивился ни сколько. Твое присутствие невидимо сказалось. К новому году будет, конечно, захват власти красногвардейцами и анархистами, так ты, пожалуйста, уж не уезжай ни в какой большой центр.

Да, мы в аду — ты прав. С тою лишь разницей, что в настоящем — церковном — аду гораздо больше порядка, логики и системы. Наш страшнее.

В Коктебеле пока тихо, но уж в Симферополе выбирают Хана, собираются присоединиться к Турции... так что я, может быть, скорее тебя окажусь за границей...

Похоже на то, что перед этим еще будет война между Севером и Югом.

Я написал за это время несколько стихотворений, которые тебе посылаю. Мне кажется, что некоторые тебе должны понравиться, хотя в такое время, когда подобает только каяться и молиться, писанье стихов не больше, чем дурная привычка. Я это сознавал пишучи их.

Мне хочется знать подробно о тебе. Нашел ли ты какую-нибудь работу? Видал ли кого из моих друзей, с которыми должен был познакомиться?

Так как теперь никаких земских и городских союзов, очевидно, не будет, то я и не писал о тебе ни Жуковскому, ни Глотову. Но если все же тебе нужно это, то напиши мне. Был ли ты у Оболенских? Гольдовских?

Мама о тебе вспоминает с нежностью и восторгом, и тебя все мне в пример ставит. Но хотя и ее я привожу в отчаянье, я думаю, что все же она не обрадовалась бы, имея сыном тебя. Обнимаю тебя.

МАХ

28 ноября 1917. Коктебель.

Дорогая Рашель Мироновна,
 я так давно не имел от Вас вестей. Знаю только от Сережи Э/фрона/, что Вы живы и благополучно пережили страшные дни. Но как пережили, что у Вас делается, не знаю. У нас пока все тихо в Коктебеле, но что будет — кто может сказать? На Севере у Вас ясно, что дело идет к 2 июня, то есть к изъятию вооруженной силой из Учредительного Собрания "Жиронди-

стов", а затем к новому году — свержению большевиков и захвату власти анархистами (то есть красногвардейцами, матросами и солдатчиной). А затем к гражданской войне между Югом и Севером... Это классически простой путь.

А у нас татары выбирают (и, верно, уже выбрали) Хана и собираются присоединить Крым к Турции. Рада украинизирует Черноморский флот, идет в войсках великорусское самоопределение... Из этих зол, пожалуй, самое страшное последнее и самое безобидное — первое: Турция, к счастью, не культурная и не социалистическая страна. Но как все это отразится на Крыме...

Единственное, что есть утешительного в настоящее время, это то, что все равно спастись некуда: везде одинаково на всем земном шаре, и если у нас пока хуже всего, то за то, что будет завтра там, где пока тихо, поручиться нельзя.

Я позволил себе направить к Вам моего друга — поэта Эренбурга. Он очень интересный и талантливый человек (хотя исступленный и нетерпимый). Он Вам многое может рассказать о русских солдатах во Франции и об Английском фронте как очевидец. Впрочем, он, верно, уже был у Вас.

Посылаю Вам несколько новых моих стихотворений, касающихся текущего. Мне очень интересно, как Вы отнесетесь к ним.

О моих планах — ничего не знаю: очень хочется приехать, хотя бы ненадолго в Москву (Цетлины меня зовут остановиться у них), но сейчас выехать-то выедешь, а сможешь ли вернуться — это неизвестно. Это очень беспокоит маму, и ей весьма не хочется отпускать меня, что я вполне понимаю и предвижу возможность полного прекращения сообщений между Крымом и Москвой в виду борьбы Севера с Югом, которая мне кажется сейчас исторически неизбежной, особенно на почве аграрной реформы.

Привет Еве, Мише, Надежде Ивановне (как ее здоровье?) и Онисиму Борисовичу.

Максимилиан Волошин

29 ноября 1917. Коктебель.

Вера Осиповна, получил Ваше письмо от 19-го. Да, у меня есть новые стихи, посылаю их Вам. Коктебель занесен снегом. Но все же недостаточно одиночества. Теперь надо быть или в самой кипени событий, или в пустыне, чтобы или жить ими, или чувствовать их во всем объеме. К сожалению, не совсем один во всем доме. Хотя в выпавшем снеге достаточно бесприютности, и она дала возможность написать те стихи о современности, что я Вам посылаю.

Из тех книг, что Вы читаете, важнее всего Апокалипсис — он самая современная из всех возможных книг; и от современных событий многие образы его выясняются. С самого начала войны я его читаю каждый день. Его и пророков. Наверно, Вы плохо знаете пророков. Прочтите Исаяю, начиная с 40 главы, особенно 42-ую. С этими обетованьями можно не страшась пройти все ужасы современности... Достоевский тоже во многом русский Апокалипсис. Прочтите внимательно страницу за страницей, останавливаясь и медитируя "Бесы".

Там уже все, что происходит теперь.

В Феодосии я совсем не бываю: преследует меня там астма. (...).

Мне было бы очень интересно узнать Вашу музыку на "Если сердце..." Может, Вы можете мне прислать ее? Мне кто-нибудь споет ее: у нас живут родственницы Кедровы — тоже певицы.

До свиданья. Напишите, какое впечатление на Вас производят мои новые стихотворения?

А. М. ПЕТРОВОЙ

10 мая 1918. Коктебель.

Дорогая Александра Михайловна, мне не хочется ехать в город пока я не окончу Аввакума, а работа что-то идет туго. И "Европу", хотя я ее уже много пе-

ределявал, не чувствую законченной. А накопилось очень много, о чем хотелось бы поговорить с Вами.

Вчера я в первый раз с момента оккупации Крыма увидел немецких солдат воочью и говорил с ними. Это не произвело тяжелого впечатления, которого я ожидал. Когда я их увидел в бинокль на коктебельском берегу — купающимися, то это было, скорее, удивление: как будто я воочью увидел римских солдат, вступивших в Митридатово царство. Конкретно ощутился исторический размах Германского предприятия. В факте присутствия германцев в Крыму для меня нет ничего оскорбительного, как это, вероятно, было бы, если бы я встретился с ними в Москве. Крым слишком мало Россия и в сущности почти ничего, кроме зла от русского завоевания, не видал за истекшие полтора века. Самостоятельным он быть не может, так как при наличии двенадцати с лишком народностей его населяющих, и притом не гвоздями, а в прослойку, он не в состоянии создать никакого государства. Ему необходим "завоеватель". Для Крыма, как для страны, выгодно быть в ближайшую эпоху связанным с Германией непосредственно (а не с Украиной и не с Австрией). Он попадает в глубокие руки, из которых он выйдет нескоро. Но я смотрю с точки зрения того "Армагеддона", который разразится в ближайшие годы между Европой и Монголами на всем пространстве Европейской России, от которой после этого камня на камне не останется. В этой борьбе Крым будет играть роль крепости-убежища на правом фланге Европейско-Германского фронта. И я думаю, что германцы начнут тотчас же готовиться к этой войне и укреплять Крым (Крым-Кермен-Кремль-Крепость — в самом имени его записана его роль). Поэтому важно, чтобы он теперь же был отдан в распоряжение Германии. Вы ведь знаете, что для меня ничего не будет удивительного, если через несколько лет Германия окажется крестоносной защитницей Европы от Монголов. Я думаю, что Германия заняла Крым крепко и надолго и что это завоевание для Крыма будет полезнее русского. Гораздо сложнее вопрос психологический для нас, русских, связанных всеми корнями своей души с Киммерией.

Наша физическая — земная родина хирургически отделяется сейчас от родины духовной (Св. Русь); но даже изгнанничество, эмиграция невозможны, потому что России вообще теперь нет. И родина духовная — Русь — Славия — не имеет больше государственного, пространственного выражения. Она для нас остается ценностью духовной, какой, в сущности, была и раньше.

Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ

2 июня 1918. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна, теперь в России уже нельзя переписываться, а можно только перекликаться и аукаться. Целы ли Вы, живы ли? Не умерли ли все от голоду? У нас такое впечатление о Москве. А у Вас, верно, что мы все давно перерезаны матросами? Нет — этого не случилось, и все сравнительно прошло благополучно. В середине апреля я послал Вам длинное письмо с описанием феодосийских событий. Но оно было послано по почте, которая очень скоро прервалась после этого, так что едва ли до Вас дошло. Я весь март провел в городе — всю эпоху анархистов, но самые страшные моменты Феодосия пережила в апреле перед самым приходом немцев, но и они прошли без больших жертв в конце концов. В Коктебеле это время было совершенно спокойно, хотя через него проходили то отряды красногвардейцев, то немецкие разъезды.

Сейчас с немецкой оккупацией наступила полная тишина. Ни газет, ни писем с Севера не приходит, что делается на Западе, мы знаем только по официальным германским сообщениям да по берлинским газетам. Что в Москве, не знаем совершенно и жизни тамошней не представляем. Сегодня пришло письмо от Сережи Эфрона, которое мама пересылает Марине, Вере и Лиле. Это первая весть от него с января месяца. Все эти письма мы отправляем с оказией: едет через Москву бухгалтер пуццоланового завода (ныне, к счастью, для Коктебеля большевиками приконченного), и всю пачку он передает

Фельдштейнам: не решаюсь отправить на адрес Кандауровых, так как по Вашему последнему письму было видно, что их, может, и высылают с Б. Дмитровки.

Все это время, за исключением марта, я очень усиленно работал: написал "Аввакума" и ряд других стихов, я посылаю список всех Мише Фельдштейну с просьбой показать, прочесть и дать списать всем знакомым. Так как здесь кончается бумага для писанья. Так что возьмите прочесть у него. Немцев я еще почти не видал: только издали в бинокль на пляже. Да еще раз у нас ночевал германский солдат, но и он был поляк и по-немецки плохо понимал. А в городе за это время больше не был.

Из знакомых никто не пострадал лично, хотя многим приходилось последние часы прятаться от расстрела большевиками. Убит только мой гимн/азический/ товарищ, мир/овой/ судья Альянаки, но Вы его не знали. Теперь все возвращаются по своим именам, и все награбленное возвращается по приказу немцев владельцам. У Лампси все благополучно, но Коля нервничал до последней степени все время. Соломон Крым прятался у себя на крыше в трубе. Княжевич сидел в конюшне. Словом, самую высокую до сих пор волну мы перепрыгнули благополучно и переживаем теперь штиль. Откуда придет следующая и когда, пока неизвестно. Но думается, что мы попали в глубокие руки и надолго. Крым не отдадут Украине — это ясно. Не собираются отдавать и Турции, а очевидно, собираются оставить себе, так как хотят устраивать самоопределение народностей, а это мы знаем, что значит: немцы-колонисты самоопределяются германцами и окажутся первенствующей расой. Для русских это плохо, но для Крыма как для страны вовсе не так дурно, тем более, что он за полтора десятилетия русского завоевания вовсе ничего хорошего от России не видал.

В Коктебеле холодная и безлюдная весна: приезжих пока нет, и взяты неоткуда, пока Север закупорен.

Я собрал "Демонов Глухонемых" в отдельную книжку и издаю ее в Харькове в издательстве "Камена".

Напишите мне, пожалуйста, о Москве и обо всех знакомых и друзьях подробно.

До меня дошел слух, что мои избранные стихи "Иверни" вышли в свет. Видали Вы эту книжку? Какая она по внешности? Какая ее цена? Приложен ли к ней мой портрет? Я так ее и не получил. Если будет оказия, пришлите мне ее, пожалуйста, экземпляр (она по условию с издателем должна быть дешевым изданием в 20 к.).

Как Вы живете физически? Чем Вы питаетесь? Мы ведь не знаем ничего о Москве: хотя, например, на днях приехал Харламов и рассказывает, что в Москве никакого голода нет: можно достать, что угодно, правда, дорого. — А как же бедные? — Ну что ж, они могут у знакомых пообедать. Привет Екатерине Ивановне. Обнимаю Конст/антина/ Вас/ильевича/ и Париса. Напишите мне, пожалуйста, с оказией обо всех знакомых: Вере, Лиле, Марине, Фельдштейнах, Маргарите, Цетлиных — обо всех.

Кон/стантин/ Ф/едорович/ мрачен, белит и чистит мастерскую, уничтожает старые картины. Хотел приехать в Коктебель работать, но передумал почему-то, как пишет Ал/ександра/ Мих/айловна/. Володя служит у большевиков в земельном комитете (я определил), получил при смене правительства, как все, жалование вперед за три месяца и теперь материально пока обеспечен, в Коктебель что-то не показывается: вся эта зима для него была очень тяжела, и он похудел, как скелет. Не могу написать ничего подробнее о городских обитателях, так как со времен немецкого завоевания никуда не показывался из дому и снова работаю и пишу неотрывно: и живопись в загоне. До свиданья, ради Бога найдите случай послать весточку: теперь ведь уже многие едут на юг уговорят, на вокзале всегда можно найти человека, которому можно поручить опустить письмо в пределах Гетманства, а оттуда письма доходят аккуратно.

4/9-1919 г. Коктебель.

Милый Яша, очень благодарю тебя за предложение, но я не приму его. Во-первых, по тем причинам, что писал в прошлом письме (состояние маминого здоровья), во-вторых, потому, что не чувствую в себе способности к административной деятельности (наверное, только напутаю), в-третьих, потому, что сейчас очень много литературной и живописной работы, а осень для меня в этом отношении самое драгоценное время года: а у меня сейчас намечен целый ряд стихотворных планов, связанных с современностью.

Но Эррум и те края вообще для меня, конечно, глубоко заманчивы, и я, если будет возможность, и если ты останешься там еще к весне, постараюсь туда попасть. Быть может, ты найдешь к тому времени нечто более подходящее, чтобы использовать меня как писателя и художника.

Очень радуюсь за тебя (и за Армению, отданную в твое распоряжение), так как думаю, что это вполне твоя область, и ты будешь как нельзя более на своем месте. Словом, твоя карьера меня вполне удовлетворяет (и я больше не настаиваю на министерстве).

Я, конечно, переживаю все совершающееся глубоко и интенсивно, но мне нужен известный исторический разбег, чтобы иметь возможность реагировать художественно. Это мне дает Коктебель. Он дает взгляд из пустыни. Какое страшное время и какое счастье, что мы до него дожили. Сейчас мне Азия интереснее Запада — разрешение всего придет оттуда.

Крепко обнимаю тебя и желаю тебе всяческого успеха. Если у тебя будет капля времени, пиши мне: мне не хочется тебя сейчас терять из поля зрения.

18 октября 1919 г.

Милый Яша, ты не ошибся: я нахожусь в Коктебеле с начала революции, и до сих пор над нами и над нашим домом все беды проходили благополучно — нас не резали, нас не грабили, даже не аресто-

вывали и не обыскивали. Хотя Коктебель и бомбардировался при нас и здесь совершались десанты...

...Я же оказался весьма приспособлен к условиям жизни, установившимся теперь, — очень много и сосредоточенно работаю: главным образом, пишу стихи, но не оставляю и живопись. Всеобщая безалаберщина весьма способствует сосредоточенности духа и работы. Пишу стихи исключительно на современные темы — о России и о революции. Как всегда, все, что бывает со мной, оказывается парадоксально: мои стихи одинаково нравятся и большевикам и добровольцам. Моя первая книга "Демоны глухонемые" вышла в январе 1919, в Харькове, и была немедленно распространена большевистским Центагом. А второе ее издание готовится издавать Добровольческий Осваг. Из этого ты можешь видеть, что я стою действительно над партиями. И это понятно: для меня уже давно стало абсурдом желание осуществлять в жизни какие бы то ни было свои предпочтения и государственные формы. Между тем как развертывающаяся историческая трагедия меня глубоко захватывает, и благодаря судьбу, которая удостоила меня чести жить в такую эпоху. Хочется только успеть формулировать все, что видишь и переживаешь. Но эта неуверенность в завтрашнем дне дает только шпоры работе. В конце концов ко мне все сменявшиеся режимы относились очень хорошо в лице центральных властей и скверно в лице местных, но они почему-то не решались ничего сделать. Я же, относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, как к отдельным видам коллективного безумия, ни к одной из них не питаю враждебности: человек мне важнее его убеждения. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволяю, — это мешать людям расстреливать друг друга. И пока довольно удачно. Зимой 18/19 гг. я провел в чтении лекций: сперва по Крыму, потом в Одессе.

В Одессе прожил всю зиму в одной комнате с Рудневым и с Абрамом Гоцом (у Цетлиных). Там меня застал большевизм. Я подвергся очередной травле местной большевистской прессы, которая меня обвиняла в контрреволюции за сотрудни-

чество в эсеровских газетах. Мне грозил арест Чрезвычайки, но вместо этого я подружился с ее председателем, и он меня снабдил всеми бумагами на выезд. Другой мой приятель поручил меня довести до Крыма матросам-разведчикам, и я с ними на паруснике прорвался сквозь французскую блокаду.

Нас дважды останавливал французский миноносец — я с ними объяснялся, и потом мои матросы говорили мне: "Как вы, товарищ, здорово буржуя представляете!" В Ак-Мечети мы попали к тарановцам, которые нас сперва обстреляли, потом арестовали.

В Евпатории мы застряли. Не было поездов. Но тут выручило счастье: ко мне на улице кинулся человек: "Ах, как я рад, что Вас нашел..." Я его еле припомнил: он когда-то был у меня в Коктебеле еще студентом. Тут же он оказался командующим армией. Так что дальше я продолжал путь в отдельном вагоне-салоне. Это было вдвойне удачно, так как в Симферопольском Ревкоме как раз перед моим приездом говорили: "Ну, если после своих зимних лекций (я читал о том, что "Двенадцать" Блока отнюдь не большевистская вещь) Волошин посмеет появиться в Крым, то ему не сдобровать". Но я появился и сдобровал. Добрался до Феодосии. Здесь у меня было курьезнейшее объяснение с Революционным Комитетом по поводу моих полномочий на охрану искусства, которыми я заручился. Когда я им заявил, что я не только не коммунист, но даже не социалист и что я им оказываю честь... то они пришли в страшное негодование, грозили арестовать и препроводить в Симферополь, но не посмели, и я отправился отсиживаться в Коктебель. Через неделю в Коктебеле был сделан десант... прямо на нашу террасу. Вся команда "Кагула" были мои приятели или слушатели... Затем началась история другого порядка: был арестован (добровольцами) мой друг генерал Маркс как большевик. Он был в Комиссариате Народного Просвещения и спас Феодосию от разгрома и расстрелов. Про него создались немедленно легенды, и ему грозил расстрел. Я умудрился проехать вместе с ним, несмотря на запрещение сопровождать его. Несколько раз по дороге предотвращал самосуд, довез его до Екатерино-

дара и там провел все его дело перед военно-полевым судом и добился его полного освобождения у Деникина. Причем у меня не было ни одного знакомого, когда я ехал в Екатеринодар.

Сейчас мне, разумеется, местные власти не могут простить всего этого, и я подвергнут остракизму на этот раз как большевик. Вот мои приключения последнего года.

10 сентября 1920. Коктебель.

Дорогая Александра Васильевна, я несколько раз писал Вам за эти годы, но едва ли мои письма доходили до Вас. В прошлом году я имел сведения о Вас от Мистера Вильямса, которого встретил в Екатеринодаре. А теперь из письма Ньюши, которое каким-то чудом дошло до меня из Парижа: первое письмо из-за границы за эти годы. Здесь полная отрезанность от всего мира, хотя, казалось бы, что Крым-то мог быть в постоянном общении с Европой. Но что ж поделаешь, когда даже местная почта начала только-только налаживаться теперь кое-как и понемногу при Врангеле.

Для нас эти годы прошли благополучно, хотя фронт несколько раз перекачивался через нас, мы видали и бомбардировки и десанты, но никуда не убегали, и, может быть, это и сохранило до сих пор нетронутым наш дом.

Мама очень постарела за эти годы, больна эмфиземой легких и не могла бы никуда бежать.

Правда, здесь мы были свободны от давящего и однообразного ужаса большевистского режима, какой господствует на Севере, но зато здесь мы испытали все прелести гражданской войны со всем ее разнообразием. Жестокости расправ с обеих сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая обычная вещь. Закон уподобления на противников действует во всей полноте. Рядом и на глазах совершается все то, о чем мы когда-то с ужасом читали в истории Смутного времени, Петровских и Иоанновских казней, и в то же время, и воображение и сердце каким-то образом при-

способливаются, притупляются, а линия индивидуальной судьбы так гнется, что проходишь безопасно и невредимо сквозь тесный строй опасностей.

Большевиков мы видели у себя дважды, и первое их господство — разложение Черноморского флота — было кроваво и страшно. Второе — томительно и тяжело, потому что мы были верстах в пятнадцать от линии фронта. Были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским.

Боюсь, Александра Васильевна, что мы с Вами и теперь, как и во время войны, во многом не будем согласны, потому что и теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность. Но это мне очень помогало и помогает в тех условиях, в которых приходится жить. Я свободно подхожу к большевику, и к монархисту, и к матросу, и к генералу. И вот неожиданный опыт гражданской войны: чем человек более жесток и более обгарен кровью, тем легче с ним иметь дело, если подходишь к нему без злобы, без страха и без осуждения. Проливаемая кровь смягчает волю, делает ее пластичной, как воск, подчиняющейся чужой воле почти как под гипнозом, я это проверил многократно в разных столкновениях с самыми страшными начальниками Контр-Разведок и Чрезвычайек, когда приходилось отстаивать чужие жизни.

Но никогда, кажется, мне так хорошо не работалось и не писалось, как в эти годы. Обстановка постоянной небезопасности и неуверенность в завтрашнем дне дают работе особую сосредоточенность. Но не будучи ни с одной из борющихся сторон, я в то же время живу только Россией и в ней совершающимся, и все стихи мои, написанные за эти годы, отвечают только на текущие события. Я Вам посылал их в письмах, а если они не дошли, то, вероятно, Вам их показывал и читал Шервашидзе, которому я дал полный экземпляр книги с просьбой и полномочиями издать ее в Париже или Лондоне. Посылаю в этом письме несколько новых стихотворений, написанных уже после отъезда Шервашидзе, а Вас прошу, прочтя их, передать Нюше вместе с письмом (она мне не написала своего адреса).

Я прошу Нюшу, если возможно, напечатать их в русских изданиях, выходящих теперь за границей, а на гонорар купить и выслать мне акварельных красок и журналов, а Вас, Александра Васильевна, очень прошу присоединить к этому и несколько книг (как художественных, так и научных, так и политических — из самых примечательных, вышедших за последние три года) и помочь ей найти верную оказию, с которой можно переслать их в Крым. Может, это возможно сделать через Струве: ездят же к нему курьеры. Очень тоже прошу Вас о прочитанных газетах, как бы стары они ни были, потому что мы здесь совершенно лишены сведений с Запада, а местные газеты пишутся людьми, которые совершенно не интересуются и ничего не понимают в европейской жизни.

Я очень часто мысленно сижу с Вами в Вашей рабочей комнате, зеленой от каштановых листьев, которые теперь, верно, уже совсем бронзовые. (...)

До свиданья, Александра Васильевна. Надеюсь, что я, все-таки, рано или поздно попаду снова в Париж и увижу Вас. Всего лучшего.

Мне очень хочется, конечно, знать Ваше мнение о моих стихах о России.

Если будет возможность мне купить и выслать несколько книг, то мне в числе их хотелось бы нечто, что суммировало бы опыт Европейской Войны.

В.В. ВЕПЕСАЕВУ

2 апреля 1923. Коктебель.

Почт. адрес: Феодосия
д. Айвазовского

Дорогой Викентий Викентьевич,
оба Ваши письма — от 22/II и от 16/III получил на очень близком расстоянии и отвечаю одновременно. Деньги — и первый перевод на пятьсот и чек на второй получил. Пойду завтра в город получать в Банк и припишу, как это получается. Огромное спасибо за то и другое. Теперь моя поездка в

Москву обеспечена материально. Остановка только за одним: составление тех книг, которые я хочу продать в Москве. Все свободное время я употреблял на творческую работу, а эту — хлопотливую и механическую, связанную с долгой перепиской на машинке, оставлял на конец в надежде, что Бог пошлет мне какую-нибудь переписчицу (мне теперь и на машинке плохо: рука отнимается от черзчурной работы). Но переписчицы не явилось, и я теперь сам спешу к отъезду заготовить материал. Предполагал выехать немедленно после Фоминой, но боюсь, что не успею, так как на Пасху жду гостей из города. Теперь все рвутся в Коктебель — то есть все художники: Богаевский, Успенский, Магула и еще многие. И решено коллективно праздновать Пасху у меня. У меня теперь в доме завелся порядок и даже благолепие благодаря хозяйничанью Маруси Заболотской. И даже гостей принять можно. Мне судьба посылает исключительно хороших людей, а появление Маруси в нашем доме еще при жизни Пра — прямо благословение Божие. Кроме того, я перевез к себе на постоянное жительство из города старика Зелинского (народоволец, эмигрант, друг Бакунина, Реклю, Кропоткина, Драгоманова) он погибал в Феодосии от нужды и болезней, не получая академического пайка, который ему выхлопотала Вера Николаевна Фигнер. Теперь он будет жить у меня. Это даст мне возможность уехать после Пасхи вместе с Марусей. Она едет в Петербург, чтобы узнать, сможет ли она теперь окончить Медицинский институт, который она оставила еще в 14 году, уехав на войну пом/ощником/ лек/аря/, и с тех пор не возвращалась.

Огромное спасибо за охранную грамоту. Сперва я несколько огорчился текстом: "о невыселении", но оказалось немедленно, что это именно то, что сейчас необходимо, потому что в виду ожидания военных действий появились угрозы выселить всех с береговой полосы, и в Коктебеле уже действуют правила о незажигании огней. Совсем как в 1919 году. Вообще здесь обычная Крымская весенняя тревога о войне. И я не знаю, как к ней относиться, потому что это единственное, что может остановить мою поездку на Север. Местным слухам я,

разумеется, не верю, но угрожающие бряцания на этот раз доносятся именно с Севера.

Одновременно с Вашим письмом я получил записку от Воровского об изменении двух мест в "Голоде", прилагаю ответ ему. Что касается "емкости испражнений", то если не поздно, то восстановите, пожалуйста, ее в тексте (если не поздно): я вполне согласен с Вашими (вторичными) доводами: в первый раз Вы меня испугали "нелогичностью", но сердце подсказывало все же преимущество "испражнений" над "пищеводом" и я исправлял текст весьма нехотя.

Я очень, очень благодарю Вас за предложение денег. Я ответил сейчас же, ибо весьма колебался, а теперь последней пересылкой нужда устраняется, и у меня на дорогу вполне хватит. У меня инстинктивный страх перед всяким займом.

Академические пайки: сейчас я получил тоже извещение, что наконец они пришли за три месяца, и иду в город их распределять и устраивать. Перед этим, месяц назад, нам пришли деньги за ноябрь, декабрь. Но их получили пока только П.С. Соловьева, и я через Тренева: остальные пока застряли в Симферополе по формальным причинам. Сейчас и они пришли для всех. Кроме того Поликс. Сер. и я получили еще санатор. пайки. Словом, к Пасхе все сразу просыпалось после целой зимы молчания. Феодосийский список академистов не очень обкорнали. Надо принять во внимание, что из прошлого списка покинули Крым: Церасские (Москва), Ек. Влад. Виганд (заграница), Галабутский (Петербург), Новицкие. Лишенными пайка оказались только Манасеина и Герцык (за последних хлопотал своевременно Бердяев, и теперь они лишены пайка как друзья Бердяева). Зато получили вновь: художники Магула и Хрустачев, музыкант Ахшарумов и Слудский (дир. Карадагской стан.), о которых я хлопотал. Очень хотелось восстановить в правах Манасеину, Евг. Герцык и Зелинского.

Спасибо за книги, особенно за "Закат Европы" — необычайно вдохновляющая, оплодотворяющая книга, хотя с нею в большинстве случаев я не соглашаюсь. Для моей работы над Путиами Каина она драгоценна.

Спасибо за новых поэтов. Но пока ввиду моего близкого приезда не посылайте мне новых книг. Только об одной прошу, если случайно она попадет (б.м. какому-нибудь магазину можно поручить поискать?) — она мне была бы крайне нужна для работы:

А. Ветухов. Заговоры, заклинания и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова (из истории мысли). Вып. I-II. Варшава, 1907. 522 + VII стр.

Я думаю, что ее могут еще где-нибудь книгопродавцы найти.

Книгу Эренбурга "Хулио Хуренито" я успел наскоро, но внимательно прочесть в Ялте. Мне она крайне понравилась. В ней есть конструктивная невыдержанность. Но она блестяща. Но Европа до войны ему удалась значительно лучше, чем война и Советская Россия. Главы из его романа (в "Недрах") я только что прочел: трудно судить. Но очень узнаю его самого и его восприятие мира в этом "Тараканьем броде". Так что, пожалуй, не соглашусь с Вами, Викентий Викентьевич, что он гонится за наинovelейшими темами и формами: это органически его темы и его давнишние формы, еще родственные ему в "Канунах".

С большим интересом прочел 1-ую часть "В тупике". Целостному художественному впечатлению мне сейчас мешает слишком точное знание элементов действительности, из которых построен роман. Из отдельных документальных лоскутков воображение невольно строит знакомые фигуры. Но виноваты в этом, конечно, не Вы, а я сам — читатель, слишком осведомленный в материале. Но зато это же мне дает возможность оценить точность его психологических пропорций. И увеличивает интерес к Вашей творческой технике. С крайним интересом жду продолжения. Очень меня интересует, проследите ли Вы психологию намеченных лиц вплоть до возвращения в Крым при белых? Пока мне это представляется художественно необходимым. Но это, может быть, потому, что моя психологическая связь событий в ту эпоху была иная.

(...)

Из присланных Вами стихов с некоторым предубеждением раскрыл присланного Вами и мне не известного Ник. Тихонова. Но он сразу подкупил меня собственной музыкальностью и силой. Казина я уже раньше отметил по отдельным стихотворениям и с интересом прочту его книгу. Он крепко вяжет стих. Очень рад Огненному Столпу Гумилева — его у меня не было, хотя все стихи в отдельности знакомы. Но что меня обрадовало чрезвычайно — это полученная на днях книга (II изд.) Федорченко "Народ на войне". Я прочитывал ее с упоением. На мой взгляд, она имеет не только исторически-документальное значение, но это и художественный этап русской прозы, которая со времен Чехова вступила на путь сжатости, который у современных беллетристов (Пильняк, Вс. Иванов) достиг не только телеграфной сжатости, но перешагнул в условную сокращенность телеграфных кодексов. А у Федорченки есть сжатость сюжета и психология. Эти записи я не могу рассматривать, как сырой документ: в них есть вся полнота творчества (выбора и отбора — формулировки). Каждая из них может быть развернута в рассказ или повесть. Пред такой художественной сжатостью, не выходящей из традиций русской литературной ясности, сам Чехов может показаться растянутым. Фантазия читателя приобщается вполне к акту творчества. Любая страница дает материалу не меньше, чем целый том беллетристики.

Не помню, посылал ли я прошлый раз мое стихотворение: "Благословение". Во всяком случае, прилагаю его в последнем варианте. Пойдут ли где-нибудь главы "Машина" и "Война" из Путей Каина? Или они совершенно неприемлемы? ("Война" настолько переработана и расширена, что я считаю себя вправе напечатать ее как совершенно новое стихотворение). Из поэтов — не новых, но явивших себя за эти годы, мне ближе всех Ходасевич. Он верно и Вам близок своим Пушкинианством? (которое глубоко приветствую!). Кстати: была ли кем-нибудь разработана тема о взаимовлиянии Пушкина и Мериме? Для истории развития принципа литературной сжатости это тема крайне важная. Вигеля непременно найду и привезу.

Дорогая Марья Гермогеновна, как Ваши сценические дела и успехи? Простите, что не пишу Вам отдельно. Но каждое письмо мое обращается в равной мере к ВВ, так и к Вам.

Всего лучшего. Крепко жму Вам руку. До скорого свиданья. Как только для меня определится более точно день отъезда, извещу Вас за неделю.

Максимилиан Волошин.

P.S. Видел Пол. Серг. Она миллиард получила и Вас давно уже известила. Паек академический получен. Но какой гнусный: вместо жиров — льняное масло (несъедобное). Вместо мяса — тарань. Мука — с горохом. Во время голода в 22 году такого не давали, и места получения, точно нарочно, в четырех городах. Прямо как издевательство.

(...)

12 января 1924. Коктебель.

Почт. адрес: Феодосия д. Айвазовского

Б. ТАЛЮ - МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

Гражданин Таль!

Ваша статья "Поэтическая контрреволюция в стихах Максимилиана Волошина", которую я только что прочел, представляется мне не литературной критикой, а прокурорским обвинением.

Тем не менее Ваш тон, по отношению ко мне как врагу достойному уважения, более порядочен, чем статья Зноско-Боровского, которого Вы имеете неосторожность цитировать.

Я вынужден ответить Вам (не по предмету Вашего обвинения) письмом в редакцию, которое посылаю одновременно в "Правду" и в "Известия" с полной уверенностью, что оно напечатано не будет.

Наши силы не равны: Вы обвиняете, но обвиняемый отвечать не может.

Если у Вас есть литературное мужество, предлагаю Вам напечатать прилагаемое "письмо в редакцию" в Вашем журнале "На посту". А вместе с ним мое стихотворение "Поэту Революции" (каковым я себя считаю). Оно является моим литературным исповеданием и дает ответ на Ваши обвинения.

Спасибо за опровержение моей "нейтральности". Я не нейтрален, а гораздо хуже: я рассматриваю буржуазию и пролетариат, белых и красных, как антиномические выявления единой сущности... Гражданскую войну — как дружное сотрудничество в едином деле. Между противниками всегда провожу знак равенства.

Понятие "России" и "Русского Царства" для меня вовсе не совпадают с понятием "Монархизма", так же как "Революция" с "Большевизмом". Но зато "Самодержавие" и "Большевизм" (принимая последний, как бытовое выявление коммунистической идеологии) исторически постоянно совпадают друг с другом по закону тождества противоположностей.

Этапы текущей революции я рассматриваю с точки зрения всей Российской и Европейской истории и думаю, что этим методом вернее нащупываю пути будущего, чем последователи предвзятых идеологий, верящие, что будет именно так, о чем они мечтают.

Вы интересуетесь (это самое стыдное место в Вашей статье, г. Прокурор!), насколько я лоялен по отношению к Советской власти? Кому нужно — тем это известно.

Только этим можно объяснить то, что несмотря на мою открытую борьбу не только с белым, но и с красным террором, что было несравненно опаснее, — я до сих пор не расстрелян. Очевидно, Советская власть принимает меня таким, как я есть, и находила меня полезным для Республики.

Разумеется, красных при белых и белых при красных я защищал не из нейтральности и даже не из "филантропии", а потому что массовое взаимоистребление русских граждан в стране, где культурных работников так мало и где они так нужны, является нестерпимым идиотизмом. Правители должны уметь использовать силы, а не истреблять их по дурацки, как велись все терроры, которых я был свидетелем.

Коммунизм в его некомпромиссной форме мне очень близок, и моя личная жизнь всегда строилась в этом порядке, государственный же враждебен, как все, что идет под знаком Государства, Политики и Партийности.

Ваши домыслы о моем "монархизме" не больше, чем прокурорская подтасовка. Я пишу четко и ясно, и надобно особо предвзятое мнение, чтобы вычитать в моих стихах то, что находите в них Вы.

В своем уединении я отстаиваю революционные ряды несравненно сильнейшие и предназначенные не для текущей революции.

Я предпочел бы поговорить с Вами обо всем этом лично. Но приехать в Москву я не могу: статьи, вроде Вашей, нагло закрывают для меня русские издания и окончательно лишают заработка: мне к этому не привыкать стать, ибо вот уже 25 лет, как меня систематически вышвыривают из Русской литературы и захлопывают передо мной двери редакции.

Поэтому, если не боитесь заразиться, приезжайте ко мне сами в Коктебель. Наверное, летом Вас занесет на юг? От Феодосии это 15 верст пешком горной дорогой. Узнаете, по крайней мере, кто я и каковы мои стихи в действительности.

Письмо это написано лично Вам, а отнюдь не для печати и не для "цитат". Не потому, что я бы остерегался высказывать мои идеи публично, но потому, что для идей это сейчас бесполезно, а для Советской власти — вредно.

Максимилиан Волошин.

19²⁶ 25

X1

Коктебель (почт. адр.)

Дорогая Софья Захаровна,
так много времени прошло с тех пор, как Вы нас покинули, а для нас лето кончилось только недавно — к ноябрю. До сих пор все были люди (Федорченко, автор книги "Народ на

войне"), и трудно было взяться за перо. Вы знаете, что меня постигла точно такая же участь, как и Вас — у меня оказалось ползучее воспаление легких, которое не оставляло меня до половины сентября, но и сказывалось еще и много позже странной слабостью и апатией. Очевидно, мы оба нажили наши "пневмонии" одним методом — я при помощи грязевых ванн, строго научно и основательно (иначе такой пакости, да еще в июле месяце и нарочно не наживешь), а Вы при помощи теплых ванн и прогулок с Манасеиным. Словом, всю осень и весь конец лета я себя очень плохо чувствовал и был бесконечно утомлен людьми, которых за это лето было на сто человек больше, чем в прошлом (400 чел.). Заболел же я, очевидно, еще раньше, когда Вы были еще в Коктебеле.

После Вашего отъезда было еще много... слишком много: мои именины, с которыми было соединено и юбилейное чествование.

— С десяти утра по 3 ч. ночи и заседания, и приветствия от поэтов всех стран, веков и народов, и балет, и испанская пантомима, и ужин... И все это как раз в день кризиса воспаления легких. И еще пятьдесят человек гостей — сверх наших. Потом через неделю были живые картины с сонетами... Потом схлынула московская компания — приехали летчики на планерные состязания. У нас жили германские планеристы — очень милые, культурные и трогательные люди... Были мировые рекорды, интриги, катастрофы, смерти... Когда разъехались летчики, появились шахматные маэстро, потом инженеры рыть Карадаг. И теперь наконец, мы одни — совсем одни. Дни струятся в глубокой зимней тишине — от акварели до акварели, от одной прочитанной книжки до другой, за стеной море взвизгивает на дыбы и гудит ветер, и мы неделями не видим человеческого лица — только три честных собачьих морды Татиная, Хниная и Аю (талантливый и малолетний сын Хны) и три хвоста, вертящиеся турникетом, приветствуют нас по утрам на террасе. Дальше колючей оградой наши интересы не простираются, и новости оттуда к нам не доходят. Лишь изредка забредает соседний козел поглотить еще зеленые прутья дерева. Как-то от Марусиново вопля и Тати-

ного лая он кинулся прямо на проволоку, запутался шерстью и упал в обморок. Лежал, разметаю копыта и закатив глаза, пока его выстригали ножницами... Заходили еще иногда по-резвиться собачьи гости: Гепеуша и Надежда Аполлоновна... Вот и все наше общество.

Ваша жизнь, наверное, более разнообразна, но менее спокойна и идиллична. Как сейчас Ваше здоровье? Давно ли воротились из Ялты? Как поживает Николай Петрович? Крепко его обнимаю и очень благодарю за присланные им книжки, которые очень интересны.

Видаете ли Вы наших летних друзей Леоновых, Булгаковых. Они уехали — как в воду канули — ни одной строчки. А очень хотелось бы знать о них...

Не видали ли Гали Розановой? Как здоровье Миши? Как складывается литературная жизнь Москвы? Как "Народ в революцию"? Двинулась ли с лета работа? Или болезнь затормозила ее надолго? Очень хочется услышать Ваш голос и узнать, что с Вами. Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

КОНФЛИКТ ПЛОТИ И ДУХА

Ева Гольдфарб — совсем молодой скульптор. Сейчас ей 25 лет. Она окончила Киевскую Академию искусств, в 1973 году эмигрировала в Израиль, в 1976 году получила стипендию итальянского правительства на учебу в Италии. Она делает небольшие работы из бронзы и терракоты. В Европе она выставляется просто под именем Ева.

Скульптуры Евы экзистенциальны.. Темы просты и трагичны — материнство, страдание, старость. Фигуры, которые она создает, находятся в бесконечном диалоге с миром и Создателем, напряженно, словно Иов, вопрошая о смысле жизни и мучений.

Ее работы, связанные с темой материнства, архаичны. Большие груди, необъятные бедра, непропорционально толстые ноги. Они напоминают, пожалуй, статуэтки богини-матери каменного века, воплощавшей плодородие.

Другая многократно повторяющаяся тема — человек, сидящий с зажатой между ногами головой. Эта странная утрированная поза делает человеческую фигуру похожей на корявый пень, но помимо чисто пластического эффекта она выражает одну из основных идей скульптора — всеобъемлющую власть плоти: маленькая голова оказывается как бы внутри разросшегося и опутавшего себя руками и ногами тела, из которого человек и не пытается уже вырваться, а с печалью неизбежности примиряется с ним.

Так же зажата телом и голова старой женщины. Но старость в пластике скульптора — это не морщины. Это прежде всего худоба, то есть противоположность полноте, рождению, жизни — смерть. Женщина превращается в высохшую оболочку — получеловек, полукаменная скала. Выгнулись бугры-лопатки, скрючились в конвульсии пальцы-завитки. На лице — безнадежность.

Одна из новых Евиных тем — страдание и попытка преодолеть его. Обнаженный человек в напряженной позе корчится от мук, сжимает голову, хватается за живот, молится об избавлении. И тут, осознанно или инстинктивно, опять сказывается тяга Евы к архаизации.

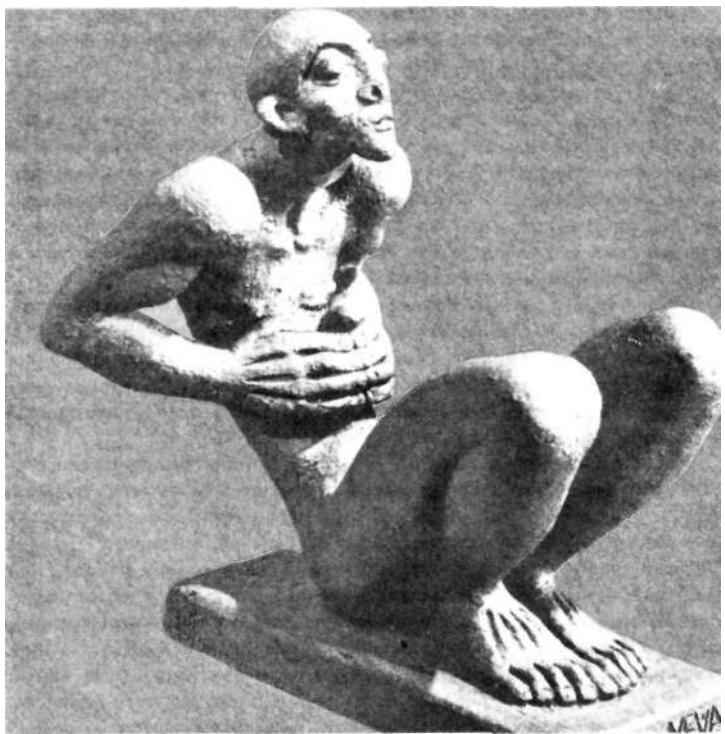
Скульптор стремительно развивается. Если в ранних работах она одержима и несколько задавлена материей, грубыми и массивными глыбами тела, земным, хтоническим началом, то теперь ее скульптуры приобретают все более утонченную и отточенную форму. Ее лица похожи на лица шумерских статуй третьего тысячелетия до нашей эры. Но в этих новых работах после периода трагического отчаяния, часто свойственного ранней молодости, появляется проблеск надежды. Человек стремится вырваться из плоти.

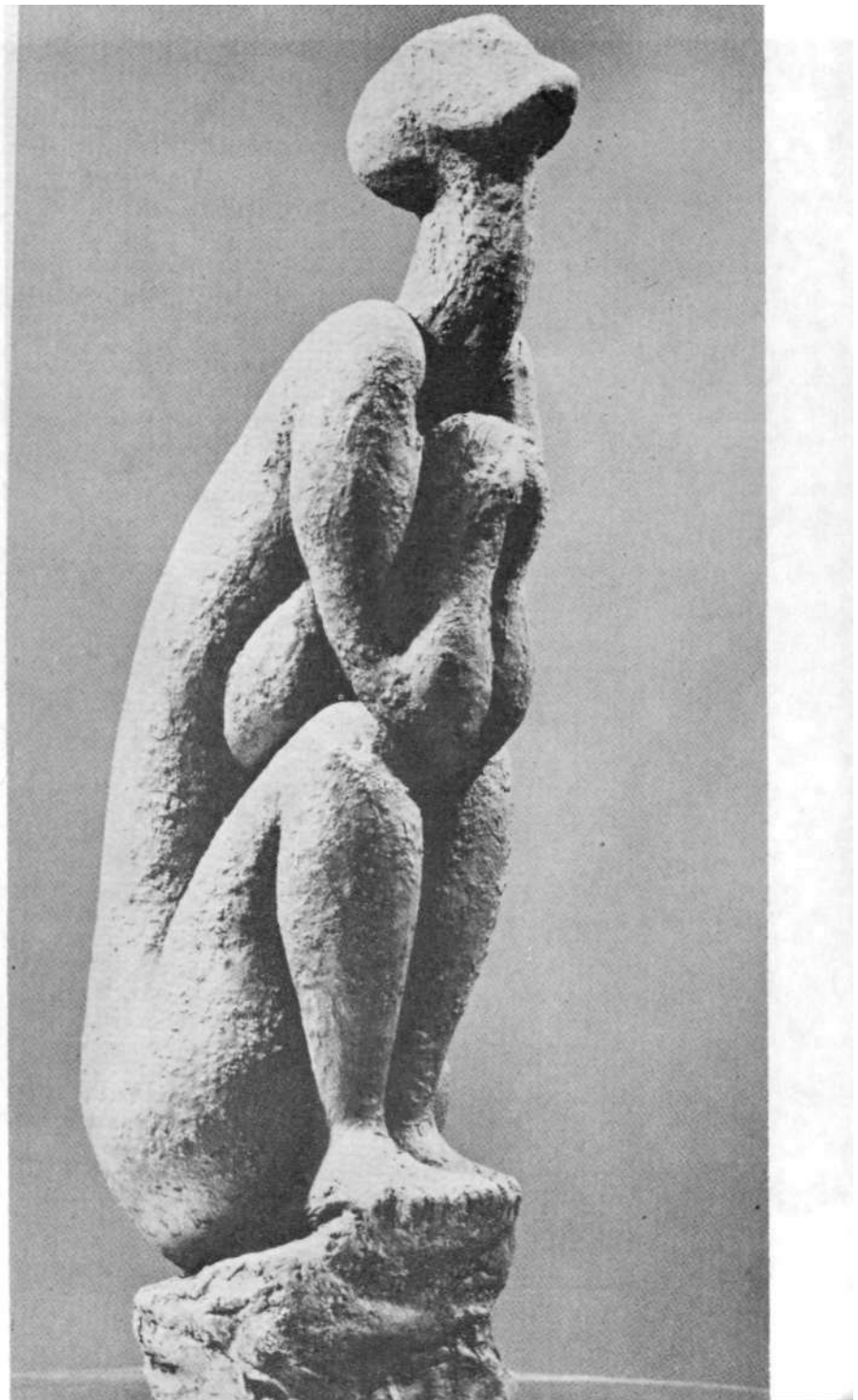
Когда я смотрю на эти работы Евы, мне вспоминаются стихи Гумилева:

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;

Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Галина КЕЛЛЕРМАН







СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия: "Литературная газета"

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Я, писатель, член Союза писателей. Публиковаться начал с 20 лет. У меня издано четыре книги, две из них переведены в шести странах. За все время в печати и во внутренних рецензиях неизменно отмечались высокие художественные качества моих вещей.

В детстве мне довелось пережить блокаду — я провел в осажденном Ленинграде 41-й и 42-й годы. Сейчас я переживаю блокаду психологическую: уже десять лет мои новые вещи не печатают. Моя судьба не исключение — рукописи ярких, самобытных писателей в Ленинграде кастрируются, маринуются в издательствах по 5-7 лет и по выходе теряют свою актуальность. Трагические следствия этого — судьба Рида Грачова и Генриха Шефа. Многие безусловно талантливые авторы, известные в литературной среде за последние десять лет, до сих пор не издали ни одной своей книги: Б. Вахтин, С. Довлатов, В. Губин, Ф. Чирсков и поэты Д. Бобышев, О. Охапкин, В. Кривулин, Е. Шварц, Ю. Алексеев — можно назвать больше пятидесяти имен.

На протяжении последних лет я открыто выступал в поддержку и в защиту культуры, неофициальных писателей и художников, за что и попал в очередной раз в "черный список". Первый раз я испытал его воздействие на себе в 63 году после нападок Н.С. Хрущева на художественную интеллигенцию, когда из журнала "Звезда" был изъят цикл моих рассказов. Последние два года я лишен всякого заработка и живу за счет своей библиотеки. Но я не стыжусь своей судьбы — когда-то так жил и Осип Мандельштам.

Год назад по моей инициативе возник Музей Современной Живописи. Я принял участие в организации выставки — солидарности с Бьеннале-77 в Венеции, чтобы привлечь внимание к творчеству современных художников. После моего возвращения в Ленинград из Москвы, где эта выставка была закрыта сотрудниками милиции, возникла странная ситуация:

1. Мне был предъявлен ультиматум от секретариата Ленинградского отделения Союза писателей прекратить всякую деятельность, которая якобы противоречит уставу Союза писателей.
2. Одновременно последовала угроза обследования и помещения меня в психбольницу.
3. На секретариате 14 декабря 77 г. я в очередной раз пытался вскрыть болезненные проблемы. Единственной реакцией было обвинение в мой адрес, что я являюсь защитником и идеологом неофициальной, так называемой "второй" культуры. Мне напомнили лозунг гражданской войны "Кто не с нами, тот против нас". Ультиматум мне был повторен: "Либо вы прекратите всякую деятельность по защите этой культуры, либо вас исключат из Союза писателей и вы будете вынуждены эмигрировать".

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Я не согласен с той позицией, которую занимает Ленинградский секретариат Союза писателей. Я считаю, что такая позиция может возникнуть у людей, не чувствующих ответственности за судьбы русской культуры.

Я убежден, что моя деятельность является моим долгом как гражданина и как писателя, который всегда в России был голосом совести. В том, что я пишу и что я защищаю, я вижу смысл своей жизни и своей деятельности.

21 декабря 1977 г.

Ленинград ул, Ленина д.34 кв.67

/Вадим Нечаев/

ВЫПИСКА из протокола № 16 заседания Секретариата
Ленинградской писательской организации 26 декабря 1977 г.

СЛУШАЛИ: о члене СП В. Нечаеве.

ПОСТАНОВИЛИ: за деятельность, несовместимую с требованиями, предъявляемыми Уставом Союза писателей СССР, которая выразилась в организации, в выпуске и распространении рукописного подпольного сборника "Архив", носящего чуждый социалистическому мировоззрению характер;

в распространении заявлений, порочащих политику советского государства в области культуры;

а также в организации выставки в поддержку антисоветского фестиваля в Венеции /Бьеннале-77/ —

— исключить из членов Союза писателей СССР.

Председатель
Верно

А.Н. Чепуров
Л.Л. Белова

Ленинградское ГБ начало новое литературное дело. 22 марта был произведен 8 часовой обыск у одного из наиболее талантливых ленинградских поэтов Игоря Бурихина. Изъяты рукописи и книги западных изданий. Ст. лейтенант КГБ Беленев допрашивает Бурихина и его друзей по делу № 86 "о незаконном полиграфическом промысле". Название отражает новую тенденцию: выдвигать интеллигентам уголовные обвинения и является совершенно фантастическим. На самом деле это месть за печатание на Западе: стихи И. Бурихина в последние годы публиковались в "Континенте", "Аполлоне-77", "Вестнике РХД", "Гранях", "Время и мы". Кроме того, 4 года назад он отказался давать показания на двух политических процессах, за что был лишен работы. И. Бурихин сообщил по телефону в Париж, что они с женой имеют израильский вызов и согласны уехать.

Его адрес: Игорь Николаевич Бурихин, Ленинград 196105,
ул. Решетникова 9, кв. 122. Телефон: 298-28-44.

МИХАИЛ МОРГУЛИС. Писатель. Родился в 1941 году. Окончил Киевский речной техникум, а затем Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). После этого стал работать инженером в одном из проектных институтов. В 1971 году был принят в Киевский комитет драматургов Союза писателей Украины. Публиковал статьи и рассказы в периодической прессе. В 1972 году получил первую литературную премию на конкурсе Министерства культуры и Союза писателей Украины. В 1977 году эмигрировал в Америку. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. Родился в Ленинграде в 1948 году. Учился в Московской, а позднее Ленинградской консерватории, которую окончил в 1972 году по классу скрипки. С 1969 по 1973 год работал в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии. В настоящее время играет в Иерусалимском симфоническом оркестре. В журнале "Время и мы" были опубликованы два рассказа Леонида Гиршовича.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Литературный критик. Родился в 1942 году. Кандидат искусствоведения. В прошлом — член Союза писателей и член Всероссийского театрального общества. Автор более 600 статей. Выступал на страницах журналов: "Новый мир", "Юность", "Вопросы литературы". В марте 1977 года был исключен из Союза писателей после того, как сделал заявление перед западными корреспондентами в Москве о цензуре и разгуле антисемитизма в Советском Союзе. В июне 1977 года покинул СССР. В журнале "Время и мы" была опубликована статья Владимира Соловьева "Цвет времени".

ДОРА ШТУРМАН. См. журнал № 27.

МИХАИЛ ДЕМИН. См. журнал № 27.

АВРААМ Б. ИОШУА — выдающийся представитель молодого поколения израильских прозаиков. Родился в 1936 году в Иерусалиме. Окончил Иерусалимский университет, был директором израильской школы в Париже. В течение трех лет (1964-1967) возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. После Шестидневной войны был деканом в Хайфском университете, где преподает литературу до настоящего времени. Удостоен литературной премии Рамат-Ган, премии Главы Правительства.

Редакция журнала "Время и мы" и Правление фонда друзей журнала "Время и мы" приносит глубокую благодарность подписчикам журнала госпоже Меликовой, а так же господам Киселеву и Легостаеву, внесшим в фонд друзей журнала 300 долларов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ

Сроком на 6 месяцев — 234 лиры

на 12 месяцев — 432 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высыпать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой
Обыкновенной почтой
Журнал высылать с номера.....

сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123,

Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv



ВАМ ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ И В «КОАХ ХАЙ КИФЛАИМ»

если у вас есть облигации займа абсорбции облигации займа «Брейра», выкуп которых начинается 1 апреля, то вам стоит идти в ближайшее отделение банка «Леуми» вложить эти облигации на счет «Коах хай кифлаим».

а этот счет вы можете внести до 36.000 лир пользоваться следующими льготами:
срочный бснц в 10% — до 3600 лир.

Полное прикрепление вклада и бонуса к индексу цен*.

Накопительные проценты.
Освобождение от налогов.
Дополнительные подробности во всех отделениях банка «Леуми», банка «Игуд» и банка «Арави Исраэли».

* Если ваши сбережения будут лежать в течение шести лет.

ВАШ ДОБРЫЙ СОВЕТЧИК
BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

Облигации займа абсорбции и займа «Брейра» будут выкупаться с 1 апреля.



**Зав. редакцией и корректор Марина Голубева
Художник Лев Ларский**

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9.
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani St. T.-A. Tel. 62108S.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, март 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки — скульптура Евы Гольдфарб.

